Проф. Э. Мельцер.

Право на убийство

(БОРЬБА С ВЫРОЖДЕНИЕМ).

Перев. с немецк. под редакц. и статьей
д-ра Л. М. Василевского.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПУЧИНА»
1926 г.

Главлит № 55615.
Тираж 3.000 экз.
1-я тип. Тулпечати.
Тула, ул. Коммунаров, 42.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Для советского читателя книга крупного немецкого невропатолога и врача-педагога Эвальда Мельцера представит несомненный интерес. Многие частные положения автора звучат для нашего уха чуждо, но в основном с его точкой зрения на оригинальную проблему „права на убийство“ нельзя не согласиться.

Работа Э. Мельцера интересна не только сама по себе: помимо всего прочего, это — чрезвычайно характерный симптом того упадка (отнюдь не только материального), какой переживает послевоенная Германия.

Отчасти в противовес некоторым буржуазным положениям Э. Мельцера, а, главным образом, для ориентировки читателя в общих основах евгеники, которые Мельцер предполагает уже известными читателю, мы снабжаем книгу обстоятельным послесловием д-ра Л. Василевского о том, что такое евгеника вообще и какое место занимает трактуемый Э. Мельцером проект в практике евгенических мер.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Проблема, которую я пытаюсь здесь рассмотреть, стара как мир, но постоянно возникает вновь. Это—проблема сокращения неполноценных жизней. Она неумолимо требует разрешения, особенно в периоды острого хозяйственного упадка страны. Кто не помнит страстного шума, какой поднялся вокруг брошюры Биндинга, вышедшей в 1920 году? Тысячи людей заявляли: разрешите вопрос в духе предложений Биндинга—и мы вступим в эру высокой человечности. Но вот наступило успокоение—и лишь изредка, в приложениях к газетам, проблема выплывает снова или трактуется в романах. Я бы сказал, что нынешнее спокойное и об'ективное отношение к ней об'ясняется не столько резкой критикой проекта со стороны выдающихся юристов и врачей, сколько облегчением материальной и духовной нужды и голода, которые переживала Германия в последние годы войны и в первые годы после войны. Но стоит материальной нужде опять обостриться—и проблема снова завладеет умами.

В этом отношении весьма показателен отчет высшего совета Бернского кантона в Швейцарии (сентябрь 1923 г.). Как видно из отчета, городской врач Гаусвирт, в виду переполнения существующих трех психиатрических лечебниц и отсутствия средств на оборудование новой, внес в Совет мотивированное предложение о лишении жизни неизлечимых психически-больных и слабоумных: по его мнению, соображения гуманности предписывают избавить их, с помощью наркотиков, от ужасного существования. Вот что, между прочим, читаем в отчете о вызванных предложением Гаусвирта прениях.

Д-р Бюелер (католик) высказался в том смысле, что проектируемый метод явился бы отрицанием 2000-летней христианской культуры и вернул бы нас к варварству древнейших времен; примерно так же высказался Г. ф.-Ришер и от имени протестантской группы.

Один только социалист Гурни признал в предложении здоровое ядро. Проекту Гаусвирта, по мнению Гурни, еще далеко до закона. Для этого надо, чтобы в „верхи" правительств проникли совсем иные воззрения. Но признать идею Гаусвирта неосуществимой невозможно. Правда, опасность злоупотреблений можно предотвратить—путем создания особой контрольной инстанции,—но возникнет еще много других препятствий, напр., несогласие родных и т. д. Кто же пойдет в госпиталь или лечебницу, если он рискует, что ему там дадут снотворное средство, действие которого, к тому же, может затянуться надолго? Д-р Бюелер стоит на точке зрения фарисея из евангелия: благодарю тебя, боже, за то, что я не таков, как эти эллины или римляне! Нет, будем откровенны: что гуманнее—десятки лет держать и кормить в стенах лечебницы приговоренного к пожизненным страданиям человека, или сразу избавить его от этих мук? И еще одно: как будущие поколения будут оценивать „всехристианнейшую" Европу 20-го века и эпоху древности? Какой из этих эпох они отдадут предпочтение—это ясно.

Позаботимся лучше о том, чтобы идиоты не размножались,— вполне справедливо указывает Гурни. Несомненно, корень вопроса именно в этом: не отрицательные меры, а *положительные* приведут к разрешению проблемы. В ряду этих мер имеет значение, конечно, и стерилизация малоценных в духовном отношении людей, хотя стерилизация—наиболее отрицательная среди мер положительного свойства.

Отрицательной евгенике невозможно придавать большого значения. Уничтожение явно больных само по себе не может привести к улучшению человеческой породы. Нужно создать такие условия, при которых все общественные слои могли бы беспрепятственно развивать при-

сущие им способности; „только тогда принципы евгеники принесут свои плоды“ (Т. Юдин—„Евгеника и душевные болезни“).

Цитированные только-что прекрасные слова взяты из доклада на всероссийском неврологическом и психиатрическом с'езде в Москве. В Швейцарии проект д-ра Гаусвирта, естественно, встретил энергичный отпор со стороны как медиков и педагогов, так и представителей культов. С разных сторон выставлялись требования, чтобы к обсуждению вопроса, помимо авторитетов в области права, философии и медицины были привлечены и родители. „Кто видел, с какой самоотверженностью и любовью мать ухаживает за своим слабым и больным ребенком, тот с негодованием отвергнет самую мысль об отнятии у нее ребенка с целью умертвить его“.

В настоящей работе читатель найдет вместе с отзывами ряда авторитетных ученых также статистические данные, основанные именно на отзывах родителей. Кто знает, по какому именно пути пойдет человечество в этом вопросе? Во всяком случае, я надеюсь с помощью этой сводки показать, как относится к проектам Биндинга большинство врачей и юристов нашего времени. Биндинг скорбит об отсутствии у нашей эпохи героизма: если бы уровень нравственности в наше время был выше, мы, не колеблясь, государственными мерами прекратили бы страдания этих несчастных. Последние – это „каррикатуры на настоящего человека, которые возбуждают ужас в каждом, кто с ними встречается“. С моей точки зрения, гораздо больше действенного героизма в том, чтобы заботиться об этих людях, окружать их теплом и светом солнца. Этим путем мы скорее приблизимся к великим идеалам культуры, чем, следуя Манну, который в своем „Спасении человечества от бедствий“ идет еще гораздо дальше Биндинга. По Манну, враги „селекции“—это директора и персонал психиатрических лечебниц, домов призрения для слепых и санаторий: все эти учреждения занимаются тщетными, по его мнению, попытками исцелять.

Врачи и воспитатели, посвятившие себя уходу за нуждающимися в помощи людьми, должны сплотиться против такого рода „селекции“, не в собственных, конечно, интересах,—работа для них нашлась бы и на других поприщах,—а в интересах человечества.

Вместо со знаменитым французским врачем Сегэном („Идиотизм и его лечение по психологическому методу“) я говорю: „Целые нации погибли вследствие гипертрофированной культуры в немногочисленной среде избранных, и улучшить породу людей можно только путем под'ема среднего уровня самых отсталых, пользуясь для этого мерами воспитания и культуры“.

Эвальд Мельцер.

I.

Право на убийство.

Еще во время войны, т. е. в период наиболее острой продовольственной нужды, я имел случай высказаться (в статье „Культура и слабоумие“) по вопросу, который часто задают мне даже вполне интеллигентные люди, посещая заведуемый мной интернат для недоразвитых и психически больных детей. Меня спрашивают: „Почему не принимаются меры к тому, чтобы прекратить жалкое существование этих несчастных созданий, раз болезни их признаны неизлечимыми? Ведь такая мера была бы большим облегчением как для родителей, так и для сограждан и государства, избавляя их от ухода за неполноценными жизнями и давая возможность затрачиваемые на них значительные средства тратить на более полезные цели?“.

К счастью,—указывал я в названной статье,—редко бывает так, чтобы ребенок, страдая от неизлечимого недуга, жил самому себе в тягость. Напротив, большинство детей хочет жить и даже проявляет непреодолимую волю к жизни. Едва ли поэтому такой ребенок, если бы спросили его мнения, высказался бы за сокращение своей жизни. Равным образом и большинство родителей, зачастую с трогательной любовью привязанных к своим детям, не дали бы на это согласия, так как не были бы в силах взять на свою совесть смертный приговор над собственным ребенком.

А между тем, всякий закон, который разрешал бы безболезненное прекращение таких жизней, мог бы иметь силу только при условии согласия на это со стороны

правомочных к воспитанию ребенка лиц. А если так, то принятие подобного закона едва-ли привело бы к каким-нибудь практическим результатам.

В связи с этим я указывал, что подобного закона, насколько мне известно, нет ни у одного культурного народа современности. Практика древней Спарты не может вызвать подражания, ибо принятые в Спарте меры „гигиенически-расового" свойства не спасли их культуру—очень мало, кстати сказать, развитую,—от быстрой гибели.

Идея призрения идиотов зародилась всего лет сто тому назад; призрение их служит на пользу не только отдельным слабоумным, но и их близким, а также государству, ибо оно дает возможность использовать надлежащим образом силы, которые раньше оставались неиспользованными.

Уже сравнительно давно стали изучать и систематизировать наблюдения над больными, собираемые усилиями отдельных миссионеров. Изучение этих материалов дает возможность установить, где и какие следует нажимать рычаги, чтобы успешно бороться с теми бетствиями и язвами нашей культуры, которые способствуют развитию неполноценных человеческих ростков. Таким образом, соблюдение указанного выше этического закона, если можно так выразиться, само себя окупает.

В другой статье—„О задачах государственного Интерната Гроссгеннерсдорф" я резюмировал свои взгляды в такой форме: „В итоге, с огромным бедствием, появившимся на земле вместе с этими детьми, следует бороться не насильственными мерами, ибо они никогда не приводят к цели,—а мерами гуманной культуры, социальными реформами. В первую очередь я имею здесь в виду исследование с помощью науки и воздействие на источники тех болезней, которые ведут к детскому слабоумию и кретинизму".

Таким образом, уже тогда, через год по окончании войны, когда продовольственное положение Германии едва-ли уже улучшилось по сравнению с последним

военным годом,—уже тогда я высказался против упомянутого выше требования, хотя в то время соображения национально-экономического свойства еще стояли для всех на первом плане.

Весною 1920 г. появилась привлекшая к себе огромное внимание брошюра „Право уничтожения неполноценных жизней, его пределы и формы", д-ра философии и права Карла Биндинга и д-ра мед. Альфреда Гоша. Тот факт, что столь известный профессор-юрист, как Биндинг, и столь значительный психиатр, как Гош, посвятили себя специальному изучению этого вопроса, что первый из названных ученых рассматривал свою работу, как некоторую заповедь (оэто видно из примечания издательства и предисловии Гоша), наконец, то обстоятельство, что оба автора решают затронутый ими вопрос утвердительно—это видно и из самого заглавия работы—все это заставило меня в корне пересмотреть свою точку зрения. Ибо, если Биндинг и Гош неопровержимо правы с юридической и врачебно-психиатрической точки зрения, если—как отмечает Гош в своем предисловии—„проницательность соединяется здесь с полным сознанием ответственности и истинным человеколюбием", то мне пришлось бы сделать совсем иной вывод. Выходит, что путем лишения жизни мы не только помогаем страждущим, несчастным людям оставить эту юдоль печали, но и приносим пользу обществу—которое к тому же в данный момент испытывает особенно острый недостаток в пище и одежде.

Брошюра Биндинга—Гоша вызвала живейший интерес, особенно в ученом мире, а оттуда мысли авторов, конечно, перебросились и в обывательскую среду, где также встретили сочувствие, так как в то время стремление к разумному упорядочению проблемы носилось в воздухе. Но рядом с этим брошюра и в тех, и других слоях натолкнулась и на серьезные возражения, на решительный отпор. Опираясь на личный (13-летний) опыт директора воспитательного дома для идиотов, в большинстве не поддающихся ни обучению, ни воспитанию и отчасти

прямо душевно-больных, я думаю, что будь устроен по этому вопросу плебисцит, он привел бы к такому разделению голосов, которое не дало бы никакого определенного ответа. Разумеется, было бы совершенно недопустимо в столь существенных вопросах культуры основываться на большинстве голосов. Гораздо уместнее подвергнуть проблему всестороннему и глубокому обсуждению, и лишь тогда занять ту или иную позицию в отношении выдвинутых Биндингом предложений.

Для этого ознакомимся, прежде всего, с содержанием брошюры Биндинга. Тридцать пять страничек этой работы не легко усвоить, и не только из-за обилия специальных юридических терминов—Биндинг подчеркивает большое значение, придаваемое им строгой юридической формулировке—сколько, благодаря множеству примечаний и комментариев; последние, подобно примечаниям к законоположениям, у него нередко обширнее, нежели самый текст. Ниже мы делаем попытку людям непосвященным, желающим составить себе мнение в этом вопросе, облегчить усвоение хода мыслей автора.

Повидимому, социологический этюд Иоста „Право на смерть“ оказал большое влияние на Биндинга. Он неоднократно ссылается на этого автора, характеризуя его труд, как весьма полезный, намеренно лишенный специально-юридических конструкций, но полный идеализма и вдохновения. В частности, он подчеркивает правильность мнения Иоста о том, что возможны условия, когда человек признает минимальной ту пользу, какую он может принести человечеству, и максимальными те страдания, которые ему предстоит перенести в жизни; в этом случае ценность человеческой жизни опускается ниже нуля.

В своем труде Иост ссылается на Шопенгауэра—и, поскольку я знаком с этим философом, не всегда основательно,—который якобы признал источником и корнем морали и нравственности одно только сострадание. Всякое последовательное миросозерцание должно, по Иосту, придти к такому именно выводу; поэтому,

надо предоставить слово естественной морали, которая повелевает считаться с благосостоянием человеческого общества и сочувствовать страданиям отдельной личности.

Неразумны религиозные или философские рассуждения, вроде того, что откинуть от себя жизнь есть грех, или, что в интересах абсолюта следует поддерживать жизнь во всех случаях, даже когда она стала бесполезной. Только потому, что люди воспитываются на такого рода отсталых воззрениях, неизлечимо больной зачастую страшится самоубийства, не настаивает на своей смерти и влачит страдальческие дни вплоть до своей горькой кончины. Прибавим сюда, что в случаях неизлечимых болезней бесцельно расходуются значительные материальные блага—пищевые продукты, врачебный уход, лекарства и пр.; напомним еще опасность заражения, а также исходящий от больного психический гнет, который удручающе действует на окружающих, чем наносится дальнейший вред интересам общества. Но вместе с тем Иост энергично отвергает высказанный в „Гибели богов" Ницше взгляд на больного, как на паразита, считая такую трактовку грубо-эгоистичной.

Возражению, что всякая жизнь представляет неизмеримо высокую ценность, он противопоставляет соображение, что общество или государство, ради политических интересов, часто жертвует сотнями тысяч жизней. На другое возражение—что никогда неизлечимость не может быть установлена с полной безошибочностью—он отвечает следующим доводом: ошибки такого рода весьма невелики в сравнении с страданиями многих тысяч, которых не хотят излечить, боясь впасть в ошибку; приходится считаться с неудачным—в исключительных случаях—исходом проектируемой реформы. Третье возражение—что покушения на чужую жизнь тогда будут происходить с еще большей беззастенчивостью, чем сейчас—Иост старается ослабить указанием на то, что в некоторых случаях государству предоставляется право уничтожения жизней, как, например, во время войны или в отношении тяжких преступников. Почему же не пре-

доставить это право и тогда, когда интересы личности и общества совпадают в единой воле к уничтожению?

С особенной едкостью Иост клеймит религиозный подход к вопросу: больному предоставляется страдать без цели и пользы, а впоследствии, когда он после долгих страданий, наконец, умирает—мы облегчаем свою совесть возгласом: слава богу! Такое поведение напоминает жестокие жертвоприношения древности, когда женщины отдавали в руки раскаленного Молоха самое дорогое—своих детей.

Если называть трусостью желание избегнуть страданий, то трусостью является и пользование наркозом. Даже самый набожный человек принимает меры к тому, чтобы обойти некоторые ниспосланные ему богом неприятности и вовсе не склонен к смирению и покорности, свойственным фаталистическому Востоку. Не является ли в таком случае евангельский поступок милосердного самарянина тоже фактом безбожия? Неужели любовь к ближнему обязана умолкнуть именно перед видом мучительного умирания?

В сущности, все религии непоследовательны, ибо они-то, главным образом, и признают за государством право лишать людей жизни при наличии указанных выше условий. „Они грешат против божественной идеи, превращая благостного властелина мира в азиатского деспота, который, не довольствуясь налагаемыми им на подданных истязаниями, строжайше воспрещает оказывать помощь истязуемым".

По мнению Иоста, вывести из тупика может только одно: мы должны признать право на убийство в случаях неизлечимых болезней. Или надо предоставлять научной совести врача решение вопроса о применимости этого права в каждом отдельном случае, подобно тому, как ныне это имеет место при опасных для жизни операциях; или же надо раз навсегда установить известные неизлечимые болезни, при которых лишение жизни должно быть осуществляемо.

Признание права на лишение жизни душевно больных стоит, по Иосту, на втором месте, так как в данном случае отсутствует согласие больного. Поэтому Иост считает это право уместным лишь при совершенно определившихся случаях неизлечимой физической болезни. На возражение, что врач не согласится сыграть роль сообщника при самоубийстве или палача, он, в свою очередь, отвечает доводом, что не существует особой врачебной этики, а есть лишь этика общечеловеческая, да другой и быть не должно. Последняя же требует, чтобы сострадание не ограничивалось миром чувства, но и осуществлялось на деле. Иост возмущается удивительным равнодушием человечества к этому вопросу, несмотря на то, что много веков тому назад Томас Мор и, позднее, Голленбах уже обсуждали возможность лишать жизни неизлечимо больных. Самая мысль о смертельном, неизлечимом недуге на большинство людей производит гнетущее впечатление. И вот, задачей социальной реформы является уподобить смерть таких больных погружению в тихий сон. Эта возможность и дается проектируемым им „правом на убийство". Поэтому Иост в заключение заявляет: „Право на убийство—это основа здоровой жизни". Существовавшие доселе неподвижные моральные принципы должны уступить свое место сознанию, что мораль и любовь к ближнему тождественны.

Я остановился так подробно на рассуждениях Иоста потому, что разум и истинное человеческое сострадание искусно сплетены в них, так что даже такой тонкий юрист, как Биндинг отчасти примкнул к этой аргументации, отчасти же пошел даже дальше Иоста, соглашаясь, например, на предание смерти идиотов; Иост об этой группе психически больных не упоминает вовсе, или, по крайней мере, рассматривает признание за психическими больными права на умерщвление, в виду отсутствия согласия больного лишь, как, „cura posterior" (последующее лечение).

---

1. Лишение жизни психически нормальных людей.

Биндинг так озаглавливает свою первую главу: „Современная правовая природа самоубийства. Так называемое соучастие". Внутренно соглашаясь с Иостом в том, что здесь неподвижная точка в наших моральных воззрениях, он ставит такой вопрос: должно ли разрешаемое законом лишение жизни — за исключением состояния крайней необходимости — ограничиваться самоуничтожением человека, или же необходимо распространить закон и на лишение жизни других людей, и если да, то в каких пределах?

Исходя из действующего законодательства, он рассматривает „современную правовую природу самоубийства и соучастия в нем" и приходит к заключению, что это деяние должно рассматриваться, как допустимое законом. Он делает этот вывод, предварительно отвергнув, за необоснованностью, два противоположных юридических толкования самоубийства: первое рассматривает его, как преступное, противозаконное деяние а второе—естественно-правовое, видит в самоубийстве — осуществление права лишения себя жизни.

Человек, по его мнению, властен над своим существованием и теми формами, в каких оно протекает. Но этим он вовсе не поощряет самоубийства и не одобряет его, как законный акт. Ибо оно может быть чрезвычайно безнравственным, как и многие деяния, не воспрещенные законом; с другой стороны оно может явиться и сознательным подвигом, актом высокой этической ценности. Представим себе самоубийцу, который, боясь последствий своих поступков, уклоняется от выполнения своих обязан-

ностей и, быть может, оставляет обремененную долгами семью в нищете, а с другой стороны—возьмем солдата, кончающего с собой в плену, из опасения под пытками выдать садистски-жестокому врагу расположение своих частей. Или же девушку, которая предпочитает смерть позору. Мы видим, к какому абсурду можно придти, если рассматривать всякое самоуничтожение, как преступный акт.

С другой стороны, санкционирование такого поступка противоречило бы интересам государства. Последнее само наносило бы себе ущерб. Вспомним об эпидемии самоубийств, не раз имевших место в истории, которые, возникнув на почве перешедшей в действие, внушенной извне идеи, уносили множество ценных жизней. Повидимому, принятое Биндингом толкование самоубийства, как акта не противозаконного, приобретает все большее распространение. „Правовой порядок, не взирая на тяжкие, быть может, последствия таких деяний для общества, все же готов их допускать. Он не признает за собой права воспрещать тому, кто их желает совершить".

Но если лишение себя жизни само по себе не противоречит закону, то этого нельзя сказать о соучастии и в особенности о подстрекательстве. Ибо здесь идет речь о соучастии в убийстве другого лица. „Всякое участие в самубийстве подпадает под норму убийства, почему и должно считаться противозаконным". Наши своды законов в вопросе о, так называемом, участии в самоубийстве находятся в положении величайшей неопределенности. Большинство их, в том числе Уложение о наказаниях, совершенно о нем умалчивают.

В большинстве стран закон не предусматривает—как это, в сущности, следовало бы—наказания за подстрекательство к самоубийству. По австрийским законам, подстрекательство и пособничество не подлежат наказанию. Швейцарский проект 1916 года, напротив, угрожает исправительным домом до пяти лет или тюрьмой за подстрекательство к самоубийству или пособничество, по

корыстным мотивам. В Венгрии подстрекательство и пособничество карается тюрьмой на срок до двух лет.

Мы видим, таким образом, что правильная мысль о наказуемости соучастия явно пробивает себе дорогу, и вместе со многими выдающимися юристами можно пожалеть, что привходящий характер пособничества и подстрекательства, принятый действующим германским уложением о наказаниях, логически не допускает их наказуемости. В сущности, соучастие в самоубийстве следовало бы, по Биндингу, карать как убийство (преднамеренное или непреднамеренное), как убийство неосторожное, или же по § 216, в случае наличия серьезного и настойчивого требования со стороны самоубийцы.

Приводим дословно § 216 ныне действующего имперского уголовного Уложения, так как он имеет существенное значение и для всего последующего: „Если кто согласится на лишение кого-либо жизни по ясному и серьезному требованию убитого, то он наказуется тюремным заключением на срок не менее трех лет".

Как правильно указывает Э. Ф. Лист, пособничество при самоубийстве близко именно к лишению жизни по требованию убитого, почему зачастую трудно провести между обоими деяниями ясную грань: „Для снисходительной оценки требуется в этом случае наличие одинаковой мотивировки, одинакового душевного состояния у пособника, как и у совершающего свое деяние. Пособничество может носить характер истинно дружеской услуги. Случаи самоубийства, часто имеющие место среди влюбленных, когда одно лицо по какой-нибудь причине (осечка огнестрельного оружия, трусость при выполнении) не совершает задуманного, должны быть отнесены сюда же; равным образом сюда же относятся и случаи коллективного самоубийства, когда целые семьи — например, под влиянием бедственного положения (что часто случалось за последние годы)—решают покончить с собой и когда задуманное деяние осуществляется не в полной мере.

Понятно, почему Биндинг так подробно останавливается на вопросе о самоубийстве, пособничестве и под-

стрекательстве к нему: здесь мы тоже имеем дело с уничтожением или сокращением жизни, которая для данного лица уже не представляет ценности.

Ведь попытка к уничтожению собственной жизни — замечает Биндинг—прежде тоже каралась законами, только Фридрих Великий, рескриптом от 1751 г., упразднил наказуемость самоубийства; за ним последовали почти все законодательства, как германские, так и за рубежом. Один только английский закон долгое время отставал на этом пути, отчасти отстает и поныне: в Англии покушение на самоубийство карается, как „Misbehavion" (дурное поведение).

Из числа остальных, так называемых, „культурных" государств одна только Боливия ввела наказание за покушение на самоубийство (Елизавета Рупп). Но если самоуничтожение по логическим соображениям не должно облагаться наказанием, то возникает вопрос, не требуется ли облегчение, а в известных случаях даже упразднение кары, когда мы имеем дело с жизнью, которая лишена всякой ценности—лишена не только суб'ективно, но и по об'ективной оценке?

Таких жизней, потерявших всякую ценность, суб'ективную и об'ективную, не мало повсюду; почему же отказывать им в благодетельном спасении от мучительных терзаний—акте чистого и искреннего человеколюбия? И логично ли, оставляя безнаказанным соучастие в самоубийстве (точнее—в лишении себя жизни), налагать в таких случаях наказание по § 216?

Каковы же эти случаи? Во второй главе своей работы Биндинг останавливается на „евтаназии", т. е. на оказании помощи при самой смерти, вернее — на врачебном ускорении безболезненной кончины умирающего в страданиях человека, и уже в подзаголовке резюмирует свой вывод следующим образом: „правильное проведение евтаназии в надлежащих пределах не нуждается в особом разрешении".

Евтаназия („искусство вызвать безболезненную смерть" —Нотнагель), как указывает самое название, может быть применена только по отношению к умирающему. Следо-

вательно, врачебное вмешательство может сократить жизнь разве что на несколько часов; к тому же не всегда такое сокращение наступает. Впрыскивание морфия, например, может настолько облегчить мучительное состояние умирающего, что его сердце выдерживает дольше, чем выдержало бы без впрыскивания. Из этого явствует, что, строго говоря, здесь вопрос идет не о сокращении жизни, и что Биндинг прав, характеризуя евтаназию, как невоспрещенный благодетельный акт.

К сожалению, однако, в этом отношении он имеет весьма мало приверженцев. В 1885 году он сам писал в своем „Руководстве“ (т. 1, стр. 803): „Производство операции или применение внутренних средств, от которых умирающий в жестоких страданиях больной погибает наверняка, хотя бы и безболезненно, в настоящее время являются еще недозволенными“. Другие юристы, как Касслер и Вахенфельд и Эбермайер решительно восстают против применения подобных средств. С другой стороны, Беллинг, например, считает их допустимыми, хотя и признает „с правовой стороны равносильными лишению жизни“; приблизительно так же смотрит и Келер; Майер полагает, что наша культура допускает такого рода вмешательство и что, в виду отсутствия прямого запрещения в законе, такое действие врача должно рассматриваться, как безусловно правильная охрана правомерных интересов.

Несомненно, многим врачам неизвестно, что очень многие юристы признают евтаназию деянием наказуемым, в этих авторах, по выражению Шпиннера, слишком много сознания легальности. Шпиннер уверен, что евтаназия применяется довольно часто. По моим наблюдениям, это не совсем так, но до известной степени евтаназия действительно, приняла облик обычного права, как это утверждает и Клее. Точнее говоря; здесь, как и в вопросе о праве на перфорацию плода и на аборт, отсутствует закон, который бы прямо разрешал это деяние. Оппенгейм даже прямо признает желательным введение в законодательство следующей нормы: „Для проведения так называе-

мой евтаназии могут применяться наркотики, несмотря на то, что приближение таким путем момента смерти возможно и даже вероятно". По Штрассману, даже незначительное сокращение жизни равносильно лишению таковой; однако, решающее значение при евтаназии имеет вопрос об устранении страданий.

Во всяком случае, не подлежит сомнению, что германское право безусловно допускает евтаназию (проф. Клее). Насколько известно Биндингу, евтаназия, в сущности настоящее лишение жизни—до настоящего времени не преследовалась в уголовном порядке. Но подобный случай возможен, да и вообще желательно положить конец такой правовой неопределенности, и потому в последний проект (1919 года) необходимо, по моему мнению, внести дополнение под литерой 284-а (§ 284: „Кто лишит другого жизни по его настоятельному и серьезному требованию, подвергается заключению в тюрьме или лишению свободы до пяти лет"). Другими словами нужно смягчение § 216 в отношении меры наказания, так как эта последняя статья предусматривает заключение в тюрьму на срок не менее трех лет. Текст дополнения должен был бы быть приблизительно такой: „Не подлежит наказанию тот, кто возможно более безболезненным способом, лишил жизни умирающего больного, или смертельно раненого, или неизлечимо больного, или раненого, спасение коего невозможно, если таковые в полном понимании своего положения выразили ясное и серьезное желание быть освобожденными от страданий и мучений".

Не прибавляя к слову „больного" определения „совершеннолетнего", я хотел подчеркнуть этим, что благо евтаназии желательно было бы распространить и на несовершеннолетних, причем, разумеется, в большинства случаев родителям или опекуну предоставляется в данном вопросе решающее слово. Если же старших нет или узнать их мнение невозможно, то врач должен иметь мужество действовать согласно велению своей совести. В этом случае ему одинаково трудно и приступить к

решительным действиям, и отказаться от исполнения высказанного больным пожелания.

Таким образом я, в противоположность Биндингу и согласно с мнением Эбермайера, полагаю, что врач не вправе ускорить смерть даже умирающего, вопреки или без ясно выраженного желания последнего. „Если врач ускоряет смерть, подчиняясь настойчивому желанию умирающего, то по существующим законам он подлежит наказанию. Однако, уместно задуматься над тем, следует ли подобного рода акты признать недозволенными“ („Саксонская врачебная корреспонд. газета“, март 1925 г., по поводу лекции Эбермайера в Германском Обществе в Берлине).

Если врачу трудно определить, умрет ли больной в ближайшие часы, то еще значительно труднее решить вопрос о смертельном характере болезни и невозможности спасения, а между тем, эти обстоятельства при нынешней формулировке § 216 играют огромную роль. При наличии у врача малейших сомнений на этот счет, он, разумеется, обязан прибегнуть ко всем возможным средствам, прежде чем приступить к чрезмерно сильным дозам наркотиков; в большинстве случаев он сможет облегчить боли умирающего или смертельно раненого, предоставляя в остальном свободу природе. Поэтому врачу во всяком случае следует относиться с большой осторожностью даже к самым серьезным и настоятельным требованиям умирающих или смертельно раненых, хотя бы чувство сострадания повелительно внушало ему исполнение этого требования.

В связи с изложенным нельзя не вспомнить об одной новелле Теодора Шторма „Признание“: там врач, помнится, дает своей любимой жене, изнемогающей в тяжелой и явно тщетной борьбе с болезнью и страданиями, по ее же настоятельному требованию, смертельную дозу наркотика, а через несколько дней или недель убеждается, из вышедшей в специальном журнале статьи, что болезнь не была неизлечимой.

Нельзя, конечно, утверждать, что в этом, как бы из жизни взятом, случае непременно наступило бы исцеле-

ние, но все же и этот пример показывает, что от врача требуется большая осторожность, как в интересах больного, так и в его собственных интересах.

Гейн, как и Биндинг, не придает большого значения опасности ошибки в диагнозе. Однако, опытные врачи-практики в этом отношении проявляют больше критицизма. Так, на 42-ом с'езде врачей в Карлсруэ, именно, врачи-практики указывали, что слишком безотрадные прогнозы*) часто оказываются ошибочным: жизнь, которая уже казалась окончательно погибшей, нередко пробуждается снова и даже проявляет большую энергию.

„Ошибочное признание смертельности положения,— справедливо замечает Биндинг—может повлечь за собой ответственность причастного к евтаназии лица за неосторожное лишение жизни". Так как не врач может особенно легко допустить в этом отношении роковую ошибку, то для него обязательна сугубая осторожность. Может ли оно вообще привести умирающего в тяжких страданиях к спокойному, безболезненному концу? А ведь к этому именно и стремится понятие „евтаназии",—легкого безболезненного умирания. Даже имея под руками наркотический раствор, человек без специальной медицинской подготовки не может установить необходимой дозы, не знает, как ее дать или впрыснуть. В его распоряжении нет необходимых средств или он не умеет как следует ими воспользоваться. Было бы бессмысленно прибавлять к страданиям умирающего еще и муку, например, от неумелого вскрытия вены.

Тем не менее, даже лицам без медицинского образования мое предложение не может и не должно показаться бесполезным, хотя бы для того, чтобы признать себя вправе, например, застрелить на поле брани своего товарища, смертельно раненого и умоляющего прекратить его страдания. Подобное же положение можно себе представить и при несчастных случаях в горах, когда спасение невозможно и кто-либо из участников имеет при себе огне-

*) Предсказание об исходе болезни.

стрельное оружие. Другие способы лишения жизни едва-ли могут быть по душе нормально чувствующему человеку, не медику, ибо он плохо знаком с анатомией, тогда как врач, не имея при себе ни огнестрельного оружия, ни яда, все же мог-бы подыскать средство для евтаназии. Правда, для этого ему пришлось бы в известных случаях сделать над собой большое усилие, но чувство долга и сострадания к жалобно стонущему, смертельно раненому человеку все же заставило бы его решиться на это— например, путем вскрытия вены.

Упоминание о „возможно безболезненном" способе лишения жизни я считаю необходимым потому, что подобные, вызванные крайней необходимостью, действия не всегда можно сделать вполне безболезненными; даже впрыскивание какого-нибудь средства всегда влечет за собою незначительное болевое ощущение. Это важно и для таких случаев,—в будущем они станут, вероятно, чаще, чем теперь—как железнодорожные, автомобильные, авиационные катастрофы. Железные прутья, крупные деревянные и железные осколки могут так впиться в тело что пострадавший, не теряя сознания, буквально окажется посаженным на кол, испытывая неописуемые страдания и требуя освобождения из ужасного положения. Всякий, в том числе и врач, в подобном случае приложит, прежде всего, старания к тому, чтобы удалить посторонее тело даже тогда, когда есть опасность немедленного наступления конца от внутреннего кровоизлияния. Ибо, не всегда может оказаться поблизости лечебница или возможность наркотизации больного для производства операции по всем правилам науки.

Из сказанного видно, что в приведенных здесь в связи с рассмотрением вопроса о евтаназии случаях, когда речь идет почти исключительно о тяжких ранениях с неминуемой близкой гибелью, цель, в сущности, в уменьшении страданий; все, что дает надежду на достижение этой цели, должно быть сделано быстро и энергично, как бы ни относились к этому вмешательству третьи лица.

Наступающий затем роковой исход есть явление привходящее.

Поэтому я, как врач, вместе с Биндингом хотел бы, чтобы осуществление евтаназии — конечно, в правильно очерченных пределах — было об'явлено „не воспрещенным актом благотворительности", который таким образом не должнен быть возбраняем и лицам непосвященным в врачебное искусство. Евтаназия должна быть санкционирована законом; истинная любовь к человеку, к ближнему не может, на мой взгляд, привести к иному выводу.

В таком случае естественно взяться за первый попавшийся в руку предмет, могущий принести смерть, чтобы оградить таким образом своих ближних (не только „близких") от жестокой гибели. О подобных случах осуществления евтаназии мы еще услышим через несколько лет, когда узнаем подробности о последней гражданской войне в России.

С точки зрения юридической они, разумеется, будут подлежать квалификации, как совершенные в состоянии крайней необходимости и самообороны; но если бы они подлежали судебному рассмотрению по ныне действующим законам, то, конечно, рассматривались бы как убийство без заранее обдуманного намерения. Впрочем, можно с удовлетворением отметить, что в недавно предложенном германскому рейхстагу проекте нового уголовного кодекса, по словам Эбермайера, понятие о вынужденной обороне значительно видоизменено; изменение состоит в том, что уничтожено прежнее ограничение этого понятия, „членами семьи". Из этого логически вытекает ненаказуемость перфорации плода в утробе матери, при условии правильно поставленного медицинского диагноза, с целью спасения жизни женщины. Как известно, такая операция признается до сих пор наказуемой, если только она не производится самим врачем в отношении члена его семьи.

Но если я в указанных границах согласен Биндингом в вопросе о допустимости евтаназии, то я решительно расхожусь с ним, когда вопрос касается бессознательного состояния, в которое уже впал умирающий. По мнению

автора, „согласие страдающего больного не имеет никакого значения". Хотя это действие не должно производиться вопреки воле больного, но во многих случаях временно впавшим в бессознательное состояние пришлось бы подчиниться такому благодетельному вмешательству.

Далее, в главе IV, содержащей основные аргументы Биндинга в пользу допустимости лишения жизни, он выделяет особую группу лиц: это—„душевно здоровые люди, которые лишились сознания вследствие какого-либо события, например, тяжкого и безусловно смертельного ранения и которые, буде они очнулись бы от бессознательного состояния, были бы обречены в дальнейшем на жалкое и безотрадное существование".

В этих случаях Биндинг также признает желательным право на лишение жизни потерявшего сознание. Выходит, что врач был бы поставлен в необходимость давать чрезвычайно сильные дозы яда, восстанавливающие дыхание и деятельность сердца, дабы возможно скорее прекратить состояние бессознательности. Ибо, как было уже отмечено, даже большие дозы наркотиков иногда действуют на сердце и дыхание восстанавливающим образом, так что впрыскивание оказалось бы весьма мало действительным, не прекращая, а скорее даже затягивая бессознательное состояние.

По моему мнению, и здесь огромное значение имеет согласие раненого. Он должен быть в сознании, иначе не может быть речи и о страданиях, которым какой бы то ни было ценой необходимо положить конец. Известно множество состояний бессознательности при смертельных заболеваниях, как-то: при диабете, сморщенной почке, эпилепсии, раковых заболеваниях, чахотке в последней стадии, о которых самый опытный врач не в состоянии утверждать, что налицо начало конца. Коматозное состояние можно приостановить при помощи средств, частью уже известных науке. Могут пройти целые дни до наступления смерти — чрезвычайно важный, быть может, выигрыш времени для умирающего, когда он мог бы при-

вести в порядок свои дела и тем самым урегулировать материальное положение своих близких.

Возможно, кроме того, что лишившийся, вследствие комы, сознания был бы против евтаназии, еслибы он мог высказать свое мнение. Не следует забывать и того, что, под влиянием эгоистических побуждений, в интересы членов семьи может входить прекращение страданий больного, и они стараются внушить врачу мысль о необходимости евтаназии, под видом сострадания к умирающему. Между тем, для врача впоследствии это создало бы крайне щекотливое положение в отношении других членов семьи с иными интересами.

Наконец, надо иметь в виду, что многие ранения при несчастных случаях на первый взгляд кажутся чрезвычайно тяжкими, а когда бессознательное состояние пройдет и раненый будет переведен в нормальные условия, может выясниться возможность спасения жизни. Таких случаев мы видели немало во время войны. Еслибы врачи в таких случаях поступали по Биндингу, с целью прекратить бесконечно горькое существование, на которое, по первому впечатлению врача, обречен в будущем пострадавший, то „vis mediatrix naturae *) не раз оказались бы парализованными, и врач, возможно, поступил бы прямо вопреки воле больного.

Из практики войны и вообще несчастных случаев известно, что даже жестоко искалеченные люди (потеря обоих ног, или даже всех конечностей) вовсе не всегда считают свои повреждения безысходным горем, что веселость и жизнерадостность отлично уживаются с увечьем. Сами пострадавшие, еслибы они в момент потери сознания могли высказаться, желают ли они сохранить свою жизнь (хотя бы и искалеченную) или прекратить ее—безусловно и решительно отвергли бы смерть. Ведь нам, врачам, в тысячу раз чаще приходится быть свидетелями таких случаев, когда безнадежно больные полны веры в свое выздоровление, чем таких, когда больной настаивает на ли-

*) Целительные силы природы.

шении его жизни. Хотя больной часто высказывает желание избавиться от длительных страданий, но до серьезного, прямого требования о том, чтобы его лишили жизни, дело доходит очень редко. Если бы врач приступил к осуществлению просьбы больного, то многие в последний момент, несомненно, взяли бы свою просьбу назад.

Поэтому положение было бы очень щекотливым, если бы врачу приходилось свое суб'ективное мнение, сложившееся под впечатлением минуты, навязать смертельно раненому и соответственно этому действовать. С другой стороны, Биндинг, Иост и многие другие впадают, на мой взгляд, в ошибку, когда думают, что предсмертные страдания наблюдаются часто. Так, например, Вилуцкий в своем труде „Собаке—последний удар из милосердия, а человеку—нет?", приведя целый ряд красноречивых примеров, настойчиво требует, чтобы при vita non vitalis (т. е., при жизни, уже потерявшей свою „жизненность") единственно правильным признавалась дачу яду.

Разумеется, бывают и такие случаи. Да и нет, пожалуй, на земле ни одного человека, который не желал бы для себя скорой и легкой смерти. Но спросим самых деятельных больничных врачей, работавших в отделениях для неизлечимо-больных, часто ли они бывали свидетелями тяжелого умирания? А, ведь, наиболее сложные случаи проходят именно через больницы, потому что близкие уже не в состоянии дать таким больным надлежащего ухода.

К счастью, природа, наводняя организм ядами разных болезней, набрасывает покрывало на сознание больного, так что он не отдает себе отчета в своем состоянии. Страдающий раком желудка или пищевода совершенно лишен аппетита, почему и не страдает от голода, который существует лишь в воображении окружающих его здоровых людей. А потом говорят, прибегая к излюбленному преувеличению: „Он целыми неделями ничего не мог есть, он умер буквально с голоду"—и с содроганием вспоминают терзания голода, которым иногда подвергаются здоровые люди вследствие какой-нибудь случай-

ной причины. Вначале такие терзания, конечно, весьма чувствительны, но по мере приближения к концу и они покрываются естественной завесой.

Кому не известна „евфория",—прекрасное самочувствие и радостно-счастливое настроение чахоточного? Если озаботиться удобным положением его тела и устранением кашля и колотья в груди, то он до последней минуты уповает на выздоровление. Огромное большинство чахоточных относится определенно отрицательно как к помощи им при умирании, так и к лишению их жизни. Конечно, бывают и исключения. Так, например, Гейн упоминает о законопроекте, который был составлен молодым туберкулезным больным, стоявшим на краю могилы; последний в потрясающих выражениях жалуется на полученный отказ в помощи при умирании, и путем своего законопроекта надеется доставить товарищам по страданию возможность легкой смерти. Сюда относятся и переживания, упоминаемые Вересаевым,*) когда мучимый невыносимыми страданиями больной перестает видеть в враче того, кто несет облегчение, получив от него отказ в последней помощи, он преисполняется ненависти к врачу и проклинает его.

Однако, я склонен думать, что в данном случае автором, в интересах достижения писательского эффекта, допущено некоторое преувеличение, или же врач не использовал как следует имевшихся в его распоряжении многочисленных средств для облегчения страданий.

Гейн очень верно отмечает, что даже неизлечимый или тяжко страждущий больной, сам не веря в возможность исцеления, ищет у врача утешения, другими словами — жаждет быть обманутым. „Если нет надежды— обмани меня так искусно, чтобы я ни минуты не сомневался в правдивости твоих слов" (Вересаев). А так как эти слова произносит тот самый, который потом называет врачей „шарлатанами, мерзавцами" („Да убейте-же меня, ведь ничего другого мне от вас не надо"!), то в же-

*) „Записки врача". Прим. ред.

лании больного быть обманутым и продолжать жить гораздо больше правды, чем в этом последнем возгласе, где чувствуется доля рисовки.

Ведь нельзя отрицать, что в человеке заложено стремление к утверждению и сохранению жизни и что самоубийство — а вместе с ним и требование о лишении жизни — вовсе не исключения из этого правила, а, наоборот, согласно Шопенгауеру, утверждение жизни: самоубийца не хочет жить при настоящих условиях, но при иных, более благоприятных обстоятельствах, он хотел бы жить.

Эд. ф. Лист в главе „Допустимость евтаназии (помощи при смерти)" замечает, что к последней иногда прибегают у впавших в беспамятство умирающих, считаясь с интересами других больных, лежащих в той же палате. Несомненно, это имеет место нередко, когда расположение палат не допускает изолирования умирающего, например, на перевязочных пунктах и в переполненных лазаретах, где вид и хрипы умирающего угнетающе действуют на соседей и даже могут принести им серьезный вред.

Но и в этих случаях не может быть и речи об оказании помощи при умирании или о прямом лишении жизни: врач едва ли даст бо́льшую дозу наркотика, чем та, какую обычно дают для успокоения. Для него ведь важно только устранить или облегчить тяжелое дыхание, судороги или сведение членов. Но это не более, как вполне легальный акт милосердия. Еслибы он добивался ускоренной смерти по социальным мотивам, т. е. в интересах других больных, то его мероприятия оказались бы, в сущности, нецелесообразным, ибо, чем меньше воздействовать лекарствами на затрудненное дыхание и судороги, тем скорее наступит отек легких, гиперемия мозга и пр., а вместе с тем и смерть.

У находящихся в беспамятстве пациентов решающее значение имеют только чисто медицинские соображения, а именно, стремление облегчить вызываемые болезнью тягостные симптомы. Основания здесь те же, как и при облегчении с помощью наркотиков кашля или продол-

жительной икоты, тягостных не только для самого больного, но и для других нациентов. Аналогичные средства мы вправе, значит, дать и лишенному сознания душевнобольному — исключительно по медицинским показаниям, не выходя из рамок правомерности.

Хотя в течение моего 13-летнего заведывания лечебницей Гросгеннерсдорф с ее исключительно тяжелым составом питомцев (не поддающиеся обучению дети-идиоты) предо мной прошло много случаев смерти (около 200), но за все это время я вспоминаю только два случая, когда были применены наркотики с целью ослабить предсмертные страдания и вызвать состояние бессознательности — подобно тому, как поступают при резком возбуждении нервной системы. Во всех остальных случаях перед концом наступало—нередко очень длительное, в течение целых дней — беспамятство; действовать с помощью лекарств не было оснований. Положение вопроса не меняется и в отношении взрослых психических больных, которым предстоит смерть от какой-нибудь телесной болезни. В этих случаях врачу также пришлось бы обходиться без согласия больного, так как последний в большей или меньшей степени лишен способности здраво мыслить. Врачу часто приходится поступать вопреки ясно выраженному желанию больного, чтобы направить болезнь или отдельные фазы ее к благополучному исходу, но для него всегда остается главным принципом „curare, sed non nocere“ (лечить, не нанося вреда). То же правило следует применять и при умирании, причем „curare“ должно быть понимаемо здесь, как облегчение страданий.

В результате всего правильнее, пожалуй, не трогать евтаназию, как некое юридическое „noli me tangere“, *) в уверенности, что врачи в большинстве случаев руководствуются именно приведенным выше принципом „не вредить“, и удовольствоваться утверждением Биндинга,

*) „Не смей меня коснуться“, это выражение применяется к принципам, которые должны быть неприкосновенны. (Прим. ред.).

как весьма компетентного криминалиста, что евтаназия до сих пор не подвергалась уголовному преследованию, почему и нет нужды вносить разрешительное дополнение в новый уголовный кодекс. На этой же точке зрения стоит и другой медицинский авторитет — Швальбе. По Эд. ф. Листу, для допустимости евтаназии достаточны те же предпосылки, как и для ненаказуемого аборта или перфорации плода в целях спасения беременной, а именно — точные медицинские показания; в случае надобности обязательно привлекать к консультации правительственного врача.

Тем не менее, я признаю более целесообразным внести добавление к ст. 284 проекта 1919 г. в той приблизительно редакции, какая приведена выше; если для врача и нет надобности вводить в кодекс особых профессиональных правомочий, то это может быть ценным для не-врача, если он окажется вынужденным принять такие меры к облегчению страданий умирающего, которые могут ускорить наступление конца.

По Биндингу же следовало бы узаконить право производить евтаназию не только над такими больными, которые стоят непосредственно перед концом, но и над теми неизлечимыми больными, которым предстоит умереть после продолжительных страданий, — если только они прямо требуют, чтобы их лишили жизни. Вообще — указывает он в главах III и IV своей брошюры — известные авторитеты прошлых веков и современности стоят на той точке зрения, что повреждение, нанесенное кому либо с его согласия, в частности лишение его жизни, по принципу „volenti non fit injuria“ *) — кстати сказать, весьма неудачно здесь применяемому, — не является деянием противозаконным. Иные же, напротив, признают всякое лишение жизни наказуемым, и если таковое было совершено не только с согласия убитого, но и по прямому его требованию, то в этом они усматривают лишь обстоятельство, смягчающее вину убийцы.

*) При наличии согласия нет нарушения прав (обиды). Прим. ред.

Первый шаг на этом последнем пути сделан Прусским уголовным кодексом, где (часть II, гл. XX, § 833) находим следующее, либеральное по тому времени и в то же время юридически тонкое, постановление: „Кто с мнимо добрым намерением сократит жизнь смертельно раненого или смертельно больного, подлежит наказанию наравне с убийцей по неосторожности, согласно §§ 778 и 779, то-есть заключению в тюрьме или крепости сроком от одного месяца до 2 лет."

Разбирая эту статью, Биндинг замечает: „Со времени издания этой статьи прошло больше ста лет, и столь ценное постановление не принесло пользы германскому народу. Любопытно отметить, что из уголовных кодексов первым вступил на этот путь саксонский кодекс 1838 г., а не прусский, и что лишь в третьем проекте северогерманского уголовного кодекса упоминается, в качестве смягчающего вину обстоятельства, об определенном и настоятельном требовании со стороны лица, желающего умереть. Однако, в то время, как прусский закон предусматривает заключение в тюрьме или крепости, сроком от одного месяца до двух лет, северогерманский уголовный кодекс устанавливает минимальный срок наказания в три года. Имперский уголовный кодекс без изменения перенял (в § 216), как смягчающее вину обстоятельство, так и минимальный срок наказания—три года. Здесь мы, следовательно, встречаемся как бы с поощрением предумышленного лишения жизни".

Но Биндинг относится отрицательно к тому обстоятельству, что закон не делает различия между прекращением полноценной жизни и неполноценной, и кроме того, распространяет облегчение вины и на того, кто лишает жизни жестоким способом. Уже в Вюртембергском угол. кодексе 1839 г. (А. 239) ясно проглядывает мысль, что неполноценная жизнь не заслуживает охраны закона в полной мере.

По мнению Е. Рупп, среди новейших законодательств самым суровым в этом вопросе, как и в оценке самоубийства, является английское: оно рассматривает лише-

ние жизни по требованию умерщвляемого, как простое убийство. Напротив, в индийском законодательстве проводится мысль, что подобное умерщвление не нарушает устойчивости правового сознания и потому не способно внушать массам ужас. Норвежское право приравнивает лишение жизни из сострадания или „с мнимо добрыми намерениями" к лишению жизни по требованию убиваемого и устанавливает для этих случаев сравнительно легкую кару. Русский проект 1903 года устанавливал, в качестве смягчающих вину обстоятельств, „сострадание" и наличие прямого требования. Япония (в § 230) ставит лишение кого либо жизни по настоятельному требованию наравне с самоубийством.

Как мы уже говорили, Биндинг отрицательно относится к германскому законодательству за то, что в нем не проведена грань между жизнью полноценной и неполноценной. Он сочувственно цитирует замечание Иоста о том, что ценность человеческой жизни не только может равняться нулю, но даже представляться отрицательной величиной, и задается роковым вопросом, обязан ли правовой порядок активно охранять нежелательное в социальном смысле продолжение таких бесполезных жизней, в частности, путем строгого применения уголовных норм, или же при известных условиях ему надлежит признать такие жизни подлежащими уничтожению.

Точно кошмар, его угнетает сознание, что на алтарь отечества и социальных интересов (поля сражений, катастрофы в рудниках и т. д.) наш век приносит потрясающие гекатомбы ценнейших человеческих жизней—и рядом с этим в интернатах для идиотов, например, „не только абсолютно лишенные ценности, но даже подлежащие отрицательной оценке существования поддерживаются. На них бесцельно затрачивается бездна энергии, терпения и материальных средств, до тех пор, пока природа—часто с таким жестоким запозданием—не лишает их последней возможности дальнейшего прозябания". „Однако—замечает Иост—если вооружиться логикой и хладнокровием, можно на этот вопрос дать ответ категорический

и безусловный. Разумеется, решение, диктуемое разумом, должно в каждом отдельном случае опираться на глубокое сознание его целесообразности при данных условиях. А отсюда вытекает требование: для того, чтобы лишение кого-либо жизни могло быть правомерным, надо, чтобы тот, кто совершает этот акт, был убежден, что в этом именно — спасение. Поэтому—уважайте волю к жизни всех людей, даже самых больных, самых страждущих и самых бесполезных"(1).

По теории Биндинга, акт умерщвления можно считать допустимым по отношению к трем группам людей:

1) подлежащие неминуемой гибели вследствие болезни или ранений лица, которые, отдавая себе полный отчет в своем положении, проникнуты настойчивым желанием избавиться от страданий и каким-нибудь способом такое желание выразили;

2) неизличимо слабоумные—безразлично, от рождения-ли или вследствие болезни—напр., прогрессивные паралитики в последней стадии;

3) умственно здоровые лица, впавшие в бессознательное состояние вследствие какого-либо несчастья, напр., тяжкого и безусловно смертельного ранения, при условии, если они, очнувшись от такого состояния, были бы обречены на исключительно тяжелое существование.

Биндинг вполне справедливо отмечает, что по отношению к третьей группе—очень малочисленной, впрочем—едва-ли возможно установить какие-либо точные нормы. Я считаю нужным напомнить, что здесь, как это было указано выше и по поводу евтаназии, действующее лицо берет на себя большой риск. Если оно проявит чрезмерную поспешность, то в известных случаях подвергнется опасности быть обвиненным в неосторожном убийстве.

Поэтому, как уже было сказано, в случаях подобного беспамятства нужно ждать прекращения этого состояния—если, понятно, нет чисто медицинских причин бояться длительного беспамятства. Здесь имеются в виду стремление врача, прежде всего оказать больному помощь, спасти все, что можно спасти. Если пациент очнется и,

отдавая себе ясный отчет в своем положении, т. е., находясь в полном сознании, серьезно и определенно потребует своего умерщвления, то такой акт был бы, с моей точки зрения, допустим; впрочем, и в этом случае, как будет видно из дальнейшего, могут возникнуть затруднения.

Ниже я изложу подробно, почему по отношению ко второй группе (по схеме Биндинга)—я считаю право лишения жизни совершенно не приложимым.

Теперь же займемся его первой группой: это—подлежащие неминуемой гибели вследствие болезни и ранений лица, которые, отдавая себе ясный отчет в своем положении, проникнуты настойчивым желанием освободиться от страданий, и „каким-либо" способом могли такое желание выразить.

Уже на последних словах этого определения я с недоумением останавливаюсь. Если больной не в состоянии больше ни говорить, ни писать, и, следовательно, определенно своего желания выразить не может, то достаточно ли соответствующего жеста, на который он все еще способен, или выразительного взгляда? Жест не может быть установлен и продемонстрирован даже свидетелями с достаточной убедительностью, чтобы в спорном вопросе у судьи могла сложиться уверенность: да, требование лишения жизни было в данном случае налицо. Еще в большей мере сказанное относится ко взгляду, который, даже будучи зафиксирован моментальной фотографией, дает слишком большой простор суб'ективному толкованию.

Мне вспоминается по этому поводу случай, переданный мне как факт одним опытным адвокатом, который лет пятьдесят тому назад вместе с другими юристами присутствовал при исполнении смертного приговора. Перед казнью осужденный обещал присутствующим подать им в той или иной форме знак, в случае, если он окажется способным на какие либо ощущения. Действительно, голова, скатившись на землю так, что глаза были видны, направила взгляд поочередно на каждого из присутствовавших. Сцена была потрясающая.

Сам по себе этот рассказ не должен почитаться неправдоподобным; ведь известны же экспериментальной медицине и естественным наукам случаи обезглавления позвоночных, когда имели место посмертные, еще более сложные и соразмеренные движения корпуса, которые, однако, следует отнести к разряду рефлекторно-автоматических. Посмертные движения глаз еще более вероятны, ибо от обезглавления не произошло отделения нервов глазных мышц от двигательного центра. Если я все же отношусь с известным скептицизмом к этому рассказу, то только потому, что движения глаз с большей вероятностью следует считать рефлекторно-автоматическими, происшедшими от какой-нибудь из целой цепи причин, которые сопутствуют столь тяжкому нарушению органической жизни: испуга, кровотечения, разрыва различных нервных путей и т. д. Разве при судорогах или при глубоком беспамятстве не наблюдаются движения глаз, которые человеку неопытному могут показаться полными выражения, тогда как врач отнесет их на счет чисто механического раздражения? *).

По указанным причинам было бы крайне неосторожно из взглядов смертельно раненого или смертельно больного делать выводы о его желании избавиться от страданий. Судья-юрист к такому аргументу, даже в случае подтверждения последнего свидетельскими показаниями, отнесся бы по меньшей мере критически, а психиатр или психолог не могли бы, по моему произнести иного приговора, чем „non liquet". **).

Обратимся теперь к тем, кто, вполне сознавая безнадежность своего положения, могут ясно выразить окружающим свое настойчивое желание освободиться от страданий. Здесь идет речь о больных раком и туберкулезом (о которых говорит и сам Биндинг), далее—об одержимых органическими нервными недугами в тяжкой форме, если только они находятся в здравом уме и твердой памяти.

---

*) См. статью Гоша „Об умирании".
**) Не разрешается. (Прим. ред).

По Биндингу, вовсе не обязательно, чтобы желание смерти проистекало от невыносимых болей: „безнадежное состояние, не сопровождающееся болями, заслуживает той же судьбы".

По наблюдениям имеющих обширный опыт главных врачей больниц здесь, как мы видели и при евтаназии, желание быть умерщвленным очень редко высказывается даже людьми высокого умственного развития, которые вполне способны отдать себе ясный отчет в своем положении, особенно, когда их мысль не отвлекается мучительными болями. Ибо, простое желание больного избавиться от страданий отнюдь нельзя отожествлять с серьезным требованием о безболезненном лишении жизни.

Один близкий мне человек, занимавший весьма высокий государственный пост, через несколько лет после своего выхода в отставку заболел раком языка; путем операции не удалось локализовать болезнь. На вполне свежем духовно, полном разнообразных интересов больном особенно тяжело отзывалось затруднение речи и приема пищи; все это заставляло его воздерживаться даже дома от всякого общения с посторонними людьми. Более невыносимых страданий нельзя себе представить, и все же — ни малейшего желания смерти, полная покорность судьбе и надежда до последнего вздоха!

Гейн правильно замечает, что „сознание безнадежности при отсутствии болей часто имеет своим источником и душевную неуравновешенность, которая исключает свободное утверждение воли". В этих случаях необходима способность критически мыслить, которая при душевной неуравновешенности часто бывает недостаточна: „Поскольку у вполне нормальных психически людей можно говорить о „болезненной безнадежности", следует допустить, что лежащая в основе такого состояния причина может внезапно исчезнуть под влиянием чисто внешних обстоятельств, а вместе с этим и намерения больного на счет дальнейшего продолжения жизни могут резко измениться". Здесь уместно вспомнить хотя бы о новейших успехах малярийной и сывороточной терапии при орга-

нических первных заболеваниях. Возможно, что мы накануне крупных успехов и в области изучения раковых болезней также — эти болезни еще тяжелее влияют на душевное состояние больного, чем туберкулез.

Но если даже исключить те случаи, которые Биндинг сюда относит (т. е., случаи, когда требование о лишении жизни высказывается в неопределенной форме и когда безболезненная безнадежность заслуживает той же судьбы), то все же остаются такие, при которых я, вместе с Биндингом, считаю умерщвление допустимым. Легко представить себе примеры таких положений, когда, по удачному выражению Иоста, то, чем человек может быть полезным сводится к минимуму, а то, что предстоит ему выстрадать в жизни, огромно.

Таково, например, положение людей в состоянии старческой или обусловленной болезнью слабости: здесь едва ли может быть речь о приносимой ими пользе, а в то же время они являются обузой для близких и сами ясно сознают это. Такое сознание свойственно, главным образом, высоко развитым личностям, еще не утратившим, под влиянием старости или болезни, альтруистических чувств. Нельзя не согласиться с указанием Биндинга, что самоубийство для таких людей часто не осуществимо: препятствием к такому шагу может явиться либо большая телесная слабость, либо трудность достать орудие смерти наконец, просто недостаток характера. В подобных случаях легализация лишения жизни, несомненно, желательна, и я охотно допустил бы ее и на тех же основаниях, как и совершение евтаназии в указанных выше пределах.

Таким образом, я вместе с Биндингом готов признать, что ни с правовой, ни с социальной, ни с нравственной, ни с религиозной точек зрения нет оснований, почему бы не разрешить умерщвления настойчиво требующих смерти людей. Более того: такое разрешение явилось бы „истинным долгом законного милосердия".

Поэтом предлагаемое мной дополнение к § 284 проекта 1919 года относится и к таким неизлечимо-больным и

безнадежно-раненым людям, которые, не находясь у самого порога смерти, ясно и категорически выражают желание умереть.

Но, с другой стороны, я настаиваю на некоторых гарантиях, которые Биндингу почему-то кажутся бессмысленными; в этом пункте он явно себе противоречит. В одном месте он сам признает желательным, чтобы вопрос о допустимости лишения жизни в каждом отдельном случае предварительно рассматривался правительственным органом—разумеется, в срочном порядке. Так как государство не может взять на себя инициативу в подобном вопросе, то почин должен исходить или от самого больного, или от пользующего его врача, или, наконец, от ближайшего родственника, им на то уполномоченного.

Необходима, значит, не только серьезная, но и ясно выраженная, по возможности в письменной форме изложенная или, по крайней мере, запротоколированная, воля больного, за его подписью, без чего правительственный орган не вправе дать делу ход. По мысли Биндинга, последнему надлежит через комиссию в составе врача-терапевта, врача-психиатра и юриста—прежде всего выяснить предпосылки для разрешения, другими словами—установить отсутствие надежды на спасение больного или тяжко увечного,—а также правомерность его согласия. Во главе такой разрешительной комиссии Биндинг желал бы видеть лицо без права голоса, с тем, чтобы ни один из трех членов коллегии не мог приобрести большего влияния, чем двое других. Впрочем, для разрешения он требует единогласного постановления.

В состав комиссии не могут входить ни лицо, подавшее заявление, ни пользующий его врач.

В резолюции должно содержаться только подтверждение, что, по состоявшемся обследовании положения больного, последний, согласно нынешнему уровню медицинской науки, является неизлечимым, что нет оснований отрицать серьезность выраженного им желания и что таким образом не встречается препятствий к его умерщвлению. После этого подателю заявления предоставляется

наиболее целесообразным способом избавить больного от его страданий. Далее читаем: „Рекомендуется, в связи с особенностями данного случая, указывать и наиболее подходящее средство евтаназии. Ибо прекращение жизни должно произойти безусловно безболезненно и право применения того или иного средства должно принадлежать только специалисту".

Тут-то и кроются величайшие затруднения. Специалистом, конечно, может почитаться только врач. Но что, если пользующий врач откажется от такого поручения? Это обстоятельство Биндинг, повидимому, упустил из виду. „Самое действие—пишет Биндинг—должно исходить из чувства свободного сострадания к больному". Сострадание может быть налицо, однако, обязанность „не вредить" может явиться для данного врача более важной заповедью. Поэтому—именно он почти никогда не возьмет на себя почин в подаче заявления. И разве его не могут удержать весьма веские социальные мотивы?

Если даже все прошло самым законным образом, если имеется утверждение правительственного органа и получен тщательно составленный протокол о „приведении в исполнение", врач все-таки легко может стать жертвой неприятных разговоров: он-де охотно предложил свои услуги, получил за евтаназию большой гонорар и не прочь, при случае, обойтись и без разрешения комиссии. Пациенты отвернутся от такого врача, и ему придется расстаться с налаженной в данной местности практикой и перебраться куда-нибудь подальше. Практикующие врачи несомненно отклонят от себя функции „спасателя" Остаются, значит, врачи участковые или окружные, но и они, можно думать, найдут сильные возражения против подобной обязанности. Как должностным по здравоохранению лицам, им прежде всего вменяется в обязанность охрана жизни и здоровья населения. А тут вдруг им предлагают убивать—к тому же в таких случаях, которые на их взгляд, может быть, вовсе и не безнадежны.

Угетти, страстный борец за идею помощи при смерти, вполне прав, проводя здесь параллель с палачем [illegible]

ромное большинство признает смертную казнь неизбежным злом, но приводить ее в исполнение никто не желает". А сам Угетти разве избрал бы своей специальностью уничтожение жизни? В отношении практикующего врача Гейн также высказывает сомнения, приведенные выше. О состоящих на государственной службе врачах он не упоминает—очевидно, не рискуя возлагать на них такие обязанности, ибо он сам врач и состоит на службе. Но рядом с этим он отмечает, что ему известны многие врачи, люди высокой нравственности, которые, помогая умирающему, следуют принципу: помогай умирать, но не называй этого таким именем.

Возможно, впрочем, что здесь смешиваются две разные вещи: помощь при смерти (т. е. евтаназия) и содействие к смерти. Убивать больного, смертный час которого еще не настал? Не думаю, чтобы в настоящее время в среде германских врачей многие действовали таким образом. Они щедро снабжают больного наркотиками, поддерживая его в полудремотном состоянии, и, быть может, этим самым приводят процесс болезни к более быстрому концу, так как больной в состоянии дремоты не так глубоко вдыхает и потому скорее может наступить отек легких—но убивать, хотя бы и с наилучшими намерениями?—Нет! Родственники, соседи по больничным койкам слишком внимательно следят за деятельностью врача, чтобы этого не заметить. Мы, несомненно, слышали бы по временам о жалобах, о судебных приговорах по таким поводам, но ни о чем подобном нигде и никогда не слыхать.

Но если нельзя привлечь к исполнению врача, то кого-же привлекать? Этот вопрос приходится оставить открытым, так как было бы крайне нежелательно возложить на не врача те функции, к которым в первую очередь призван врач, но от которых он уклоняется по этическим и профессиональным мотивам. И я не вижу, каким путем можно было бы обойти это затруднение. Признаюсь, я сам охотно обеспечил бы себе такое лишение жизни на тот случай, если я в нужный момент окажусь

не в силах помочь себе самому. В противоположность Иосту, Ф. Вилуцкому, Биндингу и др., я не думаю, что умирание—это в большинстве случаев что-то вроде „застенка для пыток". Но если я твердо знаю и чувствую, что наступает мой конец и что мне предстоят тяжкие страдания, то я не хочу обременять совесть моих близких соучастием в самоубийстве, которого, быть может, я уже не в состоянии выполнить сам; законное решение в том виде, какой проектируют Биндинг и Вульфен, было бы для меня, пожалуй, наиболее приемлемым.

Вульфен вошел в министерство юстиции со следующим проектом дополнения к § 284 проекта 1919 г. „Не подлежит наказанию тот, кто лишает жизни неминуемо обреченного на смерть совершеннолетнего больного или увечного, который, в полном сознании своего положения, выразил определенное и настойчивое желание скорейшей кончины". Второй и третий пункт предложения Вульфена, где, как и у Бильдинга, идет речь о безнаказанном лишении жизни тяжко изувеченных, находящихся в бессознательном состоянии и душевно-больных, не требуют нашего обсуждения: об этом уже достаточно говорилось выше.

Будем надеяться, что когда ненаказуемое лишение жизни найдет себе выражение в законе, существующие ныне трудности постепенно сгладятся, врачи понемногу перестанут уклоняться от тяжелой функции и больные чаще, чем теперь, будут просить врача „явиться их спасителем", по выражению Гейна.

По поводу требования Клее допустить умерщвление т. наз. безусловно неизлечимых больных, а также слабоумных, Штрасман, между прочим, говорит: „Мы, врачи не противимся тому, чтобы желание такого больного удовлетворялось". Но он не мирится с требуемой Биндингом и Клее правительственной организацией этого дела. Он считал бы достаточным ввести следующий пункт в проект уголовного кодекса: „В особо легких случаях судья может смягчить наказание или даже совсем от такового отказаться". Подобное дополнение к ныне

действующему § 216, которое целиком охватывало бы все рассмотренные выше случаи, действительно, привело бы к удовлетворительному решению вопроса.

Самым легким пунктом вопроса мне казался выбор подходящего для умерщвления средства. Но вот что сообщает, в ответ на мой запрос, фармакологический институт при Лейпцигском университете. „К сожалению, мы лишены возможности ответить на ваш запрос исчерпывающим образом. Результаты опытов над животными не могут быть полностью перенесены и на человека. Равным образом и казуистика отравлений с смертельным исходом—случайных-ли или с целью самоубийства—не так обширна, чтобы уполномочить к бесспорным выводам. В ветеринарии для умерщвления, наряду с механическими средствами, применяется больше всего цианистый калий, причем рекомендуется давать, одновременно или вслед за ним, какую-либо кислоту, с целью ускорить освобождение синильной кислоты. Кроме того, возможен, конечно, наркоз с смертельным исходом, который, правда, является более длительным, но зато совершенно безболезненным способом. Во всяком случае, лишь после ряда специальных опытов можно было бы установить целесообразное для умерщвления человека средство и его дозу".

Так как опыты возможны, конечно, только над животными и их итоги нельзя полностью переносить на людей, то приходится ограничиться наблюдениями в области клинической и судебной медицины. Последние же указывают, прежде всего, на наркотические средства. Сопротивляемость таким средствам, разумеется, бывает весьма различна, идет ли речь о морфии, хлороформе или других ядах. Мне кажется все же, что усыпленный на смерть, скажем, хлороформом больной—крайне тягостное для врача зрелище. Мой личный опыт судебного медика заставляет меня считаться и с возможностью летаргии; возможно, что врачу перед уходом пришлось бы решиться на какой-нибудь безусловно убивающий ме-

ханический акт, с целью избавить себя и родных убиваемого от ужасной неожиданности.

Вернее и быстрее других средств действует, пожалуй, цианистый калий. Будучи ядом исключительной силы, он играет значительную роль в судебной медицине, как орудие самоубийства и отравления. Говорят, что во время последней мировой войны, особенно в колониальных войсках, многие запасались им в небольших, хорошо укупоренных, футлярах, чтобы, в случае тяжелого ранения, неминуемой гибели или несомненной опасности оказаться в плену у жестокого неприятеля, иметь возможность лишить себя жизни.

Столь могущественный яд может применяться, разумеется, только врачом; последний обязан был бы оставаться при больном до наступления конца, как этого требуют, впрочем, и юридические соображения (Гейн). В качестве яда мозгового, цианистый калий быстро парализует дыхательный центр и вызывает скорую и, насколько можно судить по судебно-медицинской казуистике, безболезненную смерть от удушения.

Впрочем, долго останавливаться на этом вопросе нет надобности: целесообразный способ и надежное средство, всегда найдутся.

Важно только, чтобы умерщвление было произведено насколько возможно безболезненно и притом, средствами наиболее действительными по условиям времени и места. Э. ф. Лист выставляет для известных случаев требование, чтобы для выполнения евтаназии специально приглашался врач, состоящий на государственной службе; это, пожалуй, до известной степени служило бы гарантией против преступных покушений со стороны сиделок или родственников, которым наскучил уход за смертельно больным. На подобные покушения могут натолкнуть иногда и интересы наследования имущества умирающего.

Разумеется, разрешительный порядок не должен быть слишком громоздким и кропотливым—иначе, как и отмечает Бильдинг, он окажется практически трудно осуществимым. Представим себе, например, неизлечимо больного,

живущего где-нибудь высоко в горах, вдали от культуры, или хотя бы и городского жителя, которому не по средствам привести в движение весь этот аппарат. В подобном случае милосердному вмешательству близкого человека можно было бы обеспечить легальность в той же мере, как если-бы речь шла об умирающем (разумеется, если налицо серьезное и настойчивое требование больного).

Из этого мы видим, насколько важен пункт о „возможной" безболезненности. Ведь рядовой обыватель не может располагать теми средствами, какие имеются в распоряжении врача. В таких случаях,—которые, впрочем, наблюдались бы лишь как редкое исключение—лицо, совершившее этот акт, необходимо обязать сделать об этом оффициальное заявление (Биндинг). Последнее должно быть направлено в „разрешительную комиссию" Биндинга вместе с доказательствами неизлечимости, перенесенных умершим во время болезни страданий и полной сознательности, с которой лишенный жизни выразил свое требование. Все это далеко не всегда выполнимо, и тому, кто совершил поступок милосердия, придется считаться с отрицательным к нему отношением окружающих. Его будут преследовать сплетнями даже в том случае, если суд в конце концов даст происшедшему свою санкцию. Иного будут впоследствии терзать угрызения совести и сомнения—следовало ли ему удовлетворять просьбу больного. Поэтому лучше всего, если акт умерщвления имел бы право производить только врач.

Для того, чтобы регулирование помощи при смерти не приняло антисоциальных форм, надо, кроме того, сделать ее одинаково доступной и бедным, и богатым: помощь эта не должна вызывать непосильных расходов. При нынешнем финансовом положении страны и в этом пункте возникают существенные трудности: возьмем хотя бы оплату разрешительных комиссий Биндинга, или же оплату услуг и даже просто присутствие при умерщвлении правительственного врача.

Но и эти затруднения, в конце концов, можно было бы преодолеть. Несомненно, в той или иной форме предложение Бильдинга может войти в практику, став источником истинного благодеяния и победой культуры.

„Для меня несомненно,—говорит ф. Вилуцкий —что сознательно длить бесцельные, предсмертные страдания человека—величайшая жестокость. При нынешнем уровне врачебного искусства приходится бояться не столько смерти, сколько именно умирания (умучивания на смерть путем медленного удушения жизненной энергии). Если философски мыслящему человеку и не страшна смерть, то умирания он все же может страшиться. Почему бы в таком случае не освободить многих от этого, до известной степени обоснованного, страха?" По этому же поводу Иост правильно замечает: „Если отнять у смерти то, что в ней есть ужасного, то это только благотворно отозвалось бы на жизнеспособности и жизнерадостности людей".

С этими соображениями интересно сопоставить одно место из знаменитой „Утопии" Томаса Мора (1515 г.).

„За больными они (жители Утопии) ухаживают крайне самоотверженно и не упускают ничего, что могло бы содействовать их выздоровлению, будь то лекарства или диэта. Даже неизлечимо больных стараются утешить, присаживаясь к ним, занимая их беседой и вообще всячески облегчая им жизнь. Однако, если болезнь не только неизлечима, но непрерывно мучает и терзает больного, то жрецы и правительственные органы стараются внушить ему, что он уже не в силах выполнять свои профессиональные обязанности, что он является бременем для других и для себя, что он, так сказать, уже пережил сам себя. Поэтому, чтобы не переносить болезнь и заразу на других, он должен потребовать скорейшего лишения его жизни, которая стала для него бременем; пусть он бодро и уверенно уйдет сам от этой полной горя жизни, как из тюрьмы или из места пыток или, же пусть позволят другим избавить его от страданий. Тогда он поступит мудро, ибо смертью своей он прекратит только терзания жизни, а не радости ее; вместе с тем он совер-

шит добродетельный и благочестивый поступок, следуя совету священнослужителей, толкователей воли божией. Кого им удается убедить подобными доводами, тот добровольно кончает с собой с помощью голода или же путем усыпления, без всякого ощущения смерти. Но против воли они никого не устраняют из жизни, и никоим образом не ослабляют ухода за больным, который отказался действовать согласно их советам. Того, кто соглашается на такую смерть, они окружают всеобщим почетом. Напротив, кто лишает себя жизни по причинам, не одобренным церковью или государством, тот не признается достойным ни погребения, ни сожжения: его тело без погребения бросают в болото".

Итак, уже здесь, за 400 лет до нашей эпохи, мы встречаемся с совершенно серьезным проектом умерщвления неизлечимо больных, в случае сильных страданий, при их согласии на это, равно как и с снисходительным отношением к самоубийству, когда таковое обусловлено теми же побуждениями. Особого внимания заслуживают следующие строки Т. Мора: „Против воли жители Утопии никого не устраняют из жизни и никоим образом не ослабляют ухода за больным, который отказался действовать согласно их советам". В другом месте той же „Утопии" находим следующее важное замечание: „Особое значение жители Утопии придают устройству и обеспечению больниц всем необходимым. Они предоставляют работу мясников не гражданам, а рабам, так как боятся, что привычка к такому ремеслу может притупить чувство милосердия, самое человечное из наших чувств".

Рядом с „Утопией" Т. Мора уместно будет привести, для сравнения, и вполне современную утопию, именно, „Спасение человечества от бедствий" Эрнеста Манна. Сущность этой книги выражена в следующих четырех пунктах „требований милосердия", пред'явленных автором правительству в ноябре 1922 года вместе с книгой:

1) Безболезненное уничтожение душевно-больных, т.-е. людей, потерявших способность самоопределения, впав-

ших в неизлечимый психический недуг и живущих в тягость себе и окружающим.

2) Оказание помощи при смерти всем умирающим, осужденным на верную смерть, при тяжелых предсмертных страданиях.

3) Оказание при смерти помощи всем, кто устал жить и кто, желая освободиться от невыносимых душевных и телесных страданий, добровольно желает расстаться с жизнью.

4) Безболезненное умерщвление родившихся уродами или с заложенными в организме неизлечимыми болезнями маленьких детей, вскоре после их рождения.

На пунктах 1 и 4 мы остановимся ниже, пока же нас интересуют только п.п. 2 и 3, где мы снова встречаемся с евтаназией и легализацией убийства неполноценных элементов, поскольку имеются налицо неизлечимость и явно выраженное желание умереть.

Когда Манн рекомендует присоединить сюда и тех, кто „устал жить", и всех „несчастных", готовых отказаться от жизни вследствие „потери радости и надежды", когда он проектирует для таких людей особые дома призрения, где им предоставлялась бы возможность умирать легко и приятно, то, боюсь, по этому пути захотят пойти многие такие люди, утрата которых была бы для человечества слишком тяжелой. Вспомним хотя бы мирового гения Гете, увековечившего в „Фаусте", по собственным переживаниям, то настроение мировой скорби, которое временами овладевает, пожалуй, каждым. Или вспомним о тысячах людей, которые в юности носились с мыслью о самоубийстве только потому, что чисто физические изменения и процессы в организме, свойственные этому возрасту, временно ослабили их психическую сопротивляемость. И вовсе не все эти люди непременно слабохарактерны—напротив, впоследствии они отлично сумеют постоять за себя и с содроганием будут вспоминать о том настроении, которое чуть не толкнуло их на необдуманный, роковой шаг.

Разумеется, Манн не имеет ввиду немедленного лишения жизни всякого ипохондрика: наряду с домами призрения он мечтает и об учреждении специальных амбулаторий для таких суб'ектов, где правительственные врачи мерами психического и физического воздействия пытались бы устранить их временную душевную подавленность. „Ипохондриков следует выписывать для испытания на известный срок и лишь после вторичного возвращения их желание умереть удовлетворяется". При амбулатории для ипохондриков учреждается и хозяйственный орган, на обязанности которого лежит забота о возможной форме оказания помощи таким лицам, которые желают расстаться с жизнью под влиянием внешних условий, например, материальной нужды. „Если им не может быть обеспечен прожиточный минимум, например, в периоды голода, то лучше доставить несчастному возможность безболезненной смерти, чем вышвырнуть его обратно в жизнь на жертву нищете".

Если бы в Германии, в самые критические годы (1916—1923) поступали по такому рецепту, то я уверен, что лучшие силы страны, заключенные в среднем сословии и в прогрессивной части рабочего класса, оказались бы прежде времени похороненными, а с ними вместе и надежды на возрождение Германии. Страдания укрепляют и вызывают на борьбу с ними. Выявляются благороднейшие движения души, чрезвычайно ценные в социальном смысле. Так. называемые „верхние десять тысяч" слишком мало страдают—потому-то им и чуждо сострадание к людям, в большинстве работающим на них же—т. е., и к промышленному рабочему, и к ремесленнику, и к государственному чиновнику—да, в сущности, ко всему среднему сословию в целом.

Ницше, столь часто цитируемый теоретиками борьбы с состраданием и нищетой в целях создания сверхчеловека—когда-то, действительно, бросил крылатое слово: „Что на свете приносит больше горя людям, чем глупость сострадательных"? Но в другом месте тот же

Ницше говорит: „Разве вы не знаете, что только страдание дало миру все, что возвышенно?“ И если, по Шекспиру,

„Плевелы мы сеем лишь тогда,
Когда над нами не бушует буря“,—

то и он выражает ту же мысль: в препятствиях, встречаемых человеком на его жизненном пути, заложено ценное начало, ибо они закаляют его волю и делают энергичным.

Впрочем, как психиатр, я хотел бы напомнить, что проектируемые амбулатории,—и не для одних только ипохондриков, но и для всех психически больных, психопатов, нервных больных—уже существуют в большинстве крупных центров, где имеются лечебницы и санатории. Деятельность обществ призрения вышедших на свободу душевнобольных, слабоумных, психопатов, уголовных преступников и пр., достигает многого в смысле „спасения человечества от нищеты“; впрочем, Манну эта деятельность кажется, вероятно, слишком дорогой, медленной и вообще недостаточной. С моей точки зрения, эта, гораздо более культурная по форме, деятельность хотя и медленнее, но вернее ведет к цели, чем проекты Манна, осуществление которых повело-бы к самым гибельным последствиям.

Недавно обсуждался вызванный гигиенически-расовыми соображениями проект саксонского окружного врача Бетера о стерилизации духовно-отсталых лиц путем операции; у мужчин эта операция производится очень легко в течение нескольких минут, под слабым наркозом, а у женщины она сложнее и не совсем безопасна. Часть прессы подняла по поводу проекта дикий вопль, негодуя против такого посягательства на индивидуальную свободу. А что сказала бы та же пресса, что сказали бы крупные политические партии о планах Манна? Он, например, пишет: „Сохранение здоровья среди населения—основная обязанность врача, а отсюда следует, что неизлечимых больных необходимо уничтожать, так как это освободило бы для лечения излечимых больных большие средства и энергию“.

Манн мечтает об особых „комиссиях по селекции" из врачей по всем специальностям; комиссии периодически созывают все население для освидетельствования. Они поголовно обследуют состояние здоровья населения и выделяют одержимых неизлечимыми болезнями. По мнению автора, такие созывы не вызовут особых затруднений, как мы это видим хотя бы на примере обязательных массовых прививок.

Раз болезнь будет рассматриваться как нечто позорящее человека, всякий сочтет долгом чести появляться на этих собраниях, контролирующих здоровье. Врачам комиссий надо предоставить право применять полицейские меры, чтобы они могли выполнять свои обязанности даже вопреки воле некоторых из больных.

Манн отдает себе отчет в том, что в таком случае необходимо провести строгую грань между здоровыми и больными, т. е. между понятиями „крайне растяжимыми и относительными: то, что в вырождающейся среде горожан может считаться еще здоровым, у крепкого сельского населения уже признается болезненным". Но он с легким сердцем отклоняет этот сложнейший вопрос и останавливается на требовании, чтобы известный разряд больных и увечных подвергся безусловному уничтожению, „в целях мощного развития человечества". Сюда он относит неизлечимо больных заразительными, передающимися по наследству, болезнями, каковы — туберкулез, некоторые венерические болезни, рак, проказа, душевные заболевания, искалечение, слепота и наконец,—правда, на последнем месте—хроническая слабость нервной системы.

Если бы осуществились мысли Манна—что это было бы за государство исправительных домов! В главе, посвященной селекции и хозяйственной формам, Манн резюмирует свои выводы в том смысле, что при любой государственной форме—капиталистической, демократической, социалистической или коммунистической,—а также в промежуточных между ними стадиях селекция является основным залогом народного развития, упразднения

нужды и прогресса человечества в духовном и физическом отношениях.

Я боюсь, что селекционная система Манна, которого, впрочем, нельзя упрекнуть в отсутствии идеализма относительно расовой гигиены и повышения уровня человеческой породы, привела бы человечество к полному банкротству. Селекция по Манну с ее государственной системой врачей может обратиться в опаснейшее средство устранения людей нежелательного направления. Если осуществится такое государство правительственных домов—будет все, что угодно, только не тот золотой век, какой рисуется Манну. Ибо, при наличии присущего человеку чувства самосохранения, система эта будет лежать парализующей тяжестью на всех людях. Манн отдает себе в этом отчет, но утешает себя тем, что такой гнет, в виде обычного страха смерти, существует искони веков и сохранится равным образом и без селекции. Он распадается на страх перед смертью и на боязнь предсмертных страданий. С введением селекции и помощи при смерти, последняя исчезнет, так что в итоге страх человечества при селекции, по его мнению, скорее уменьшится, чем увеличится.

Когда я из своего врачебного опыта припоминаю ту боязливость, какую и сейчас испытывают больные перед операцией, всегда все-таки подающей надежду на благоприятный исход—ибо иначе врач за нее не брался бы—то я вынужден решительно протестовать против предположений, вроде выставленных Манном. Страх перед смертью, несомненно, еще увеличился бы, если-бы люди знали заранее, что развивающаяся у них болезнь поставит их перед „селекцией". Пусть Манн не жалеет красок для описания своих „Храмов Смерти" или „Клиник Смерти"—называйте их, как хотите—пусть он облекает врачей, жрецов этого храма, высокими и совершенными чертами человечности,—средний человек всегда отшатнется от ворот смерти, открывающихся перед ним раньше времени.

Не забудем еще и о возможности ошибок: болезнь, вопреки приговору комиссии, может оказаться излечимой. Кроме того, я склонен думать, что в золотом мире, рисуемом Манном, влиятельные люди не без успеха будут принимать всевозможные меры к тому, чтобы избежать „селекции". Короче говоря, я считаю всю книгу Манна „Спасение человечества от бедствий" опасной утопией, которая привела бы не к свободе, а к закрепощению. Она показывает, во что вылилось бы в дальнейшем лишение жизни, если бы его применение не было строго ограничено определенными пределами, а именно: наличием ясно выраженного и серьезного требования со стороны лица, желающего умереть.

К приведенной выше схеме Биндинга, помимо уже рассмотренных двух групп, где можно говорить о наличии такого требования или согласия, предусматривается также умерщвление неизлечимо слабоумных — слабоумных от рождения или вследствие болезни. Манн включает в эту категорию всех душевнобольных, а также калек, слепых, и всех вообще, кто уже не стоит на высоте духовной и телесной трудоспособности. Мне кажется, в отношении этой группы старик Томас Мор в своей „Утопии" уже указал правильный путь: „Против воли они никого не устраняют из жизни и никоим образом не ослабляют ухода за больным, который отказался действовать согласно их советам".

Величайшее из правовых благ личности есть жизнь. Это не требует доказательств, вся история человечества учит, что за „право жить" люди часто отдают другие ценности, иные великие блага. Опыт криминологии, ходатайства приговоренных к казни о помиловании показывают, что большинству людей даже жалкое существование в стенах тюрьмы представляется более ценным, чем полная потеря жизни. Стоит лишь вспомнить „Преступление и наказание" Достоевского: „Только-бы жить, жить, жить!" Более высокого сознания о том, что величайшим благом является свобода, достигают лишь очень немногие. Некоторые люди, напр., тяжкие преступники

или военнопленные, приходят к такому выводу только после долгого и тяжелого заключения. Для среднего человека, с которым и должно считаться право, во всяком случае наивысшим благом личности является именно жизнь, а величайшее общественное благо состоит в обеспечении ее. Общество, государство может существовать только тогда, когда оно в силах более или менее обеспечить жизнь своих граждан.

В то же время государство лишено возможности придавать слишком большую цену отдельному существованию. Ему, государству, в общем безразлично, как именно поступает с своей жизнью отдельный человек. Его даже мало трогает, когда отдельный гражданин отказывается от этого величайшего правового блага – путем самоуничтожения. Каждый гражданин может поступать, как ему угодно с тем, что ему принадлежит. Самоуничтожением не наносится ущерба безопасности других граждан, а само по себе это деяние не влияет на массу устрашающим образом. Вот почему государство не видит необходимости налагать кару за самоубийство. Да это в большинстве случаев было бы и бесцельно: уже Беккария учил, что не следует угрожать наказаниями, которых нельзя привести в исполнение. Подвергать же посягавших на свою жизнь чему-нибудь вроде ссылки или отлучения было бы явно бессмысленно.

Если в прежние времена (а в Англии еще и сейчас) государство признавало наказуемым самоубийство или покушение на него, то это происходило от того, что прежнее правовое сознание находилось под влиянием канонических положений, усматривавших в самоубийстве антирелигиозный акт, бунт против божественной заповеди „не убий“. Но к счастью, право почти везде уже освободилось от этих религиозных пут. Старый принцип „не убий“ оно пока еще сохранило, из указанных выше соображений безопасности, как и многие другие старинные религиозные принципы, но только по отношению к другим людям, а не к самому себе. Современное право признает за каждым гражданином право свободно распоря-

жаться не только своей жизнью, но и своим имуществом: уже Юм („О свободе“) указывал, что общество вынуждено признать это во имя более высокого блага человеческой свободы, а Э. ф. Лист утверждает: „Ненаказуемость самоубийства неопровержимо вытекает из личной свободы и права каждого распоряжаться собой.“

Итак, самоубийство есть деяние в правовом отношении безразличное, не подлежащее наказанию. Из этого, однако, не следует, как и указано выше, будто государство может поощрять самоуничтожение, — напротив, в согласии с нашими современными понятиями оно обязано принимать все социально-гигиенические меры к тому, чтобы препятствовать подобным актам. Но самым важным, заслуживающим сугубого внимания, остается следующее обстоятельство: при самоубийстве нет посягательства на какое-либо правовое благо другого лица—в том случае, разумеется, если покушавшийся на самоубийство, нанесший себе серьезное повреждение или даже увечье, не подлежит призыву на военную службу.

Совсем в иной плоскости стоит вопрос об умерщвлении по требованию и о подстрекательстве к самоубийству или соучастии в нем. Здесь имеет место посягательство на чуж е правовое благо, хотя в первом случае всегда, а во втором очень часто налицо прямое желание со стороны обладателя этого блага. Но так как здесь идет речь о соучастии в лишении чужой жизни, то к этому государство не может относиться безразлично.

Отсюда вывод: подстрекательство и соучастие в этих деяниях должны считаться наказуемыми. Отсюда и наказуемость этих деяний в разных странах (Венгрия, Швейцарский проект). Во всяком случае, при определении наказуемости и установлении смягчающих обстоятельств необходимо считаться с душевным состоянием действующего лица. Если совершенно отсутствуют эгоистические мотивы, а имеются мотивы альтруистические, как например, сострадание, то никто не будет возражать против мягкого приговора или даже полного оправдания, раз

лишение жизни произведено по прямому требованию убитого.

Я последую за Е. Рутт в ее требовании, чтобы будущий закон прямо признал логическую несостоятельность § 216. Необходимости в отмене § 216 я не вижу, но меру наказания необходимо понизить, как это делает Фр. ф. Лист (1 день тюремного заключения) или проект комиссии; последний рассматривает лишение жизни по требованию как delictum sui generis (преступление особого рода) и карает его заключением в тюрьме или лишением свободы до пяти лет, смягчая наказание в особых случаях до одного дня домашнего ареста (германский уголовный кодекс—от 3 до 5 лет тюрьмы, предварительный проект—от 6 месяцев до 5 лет тюрьмы, контр-проект—от 1 недели до 2 лет).

Мне кажутся убедительными доводы Миттермайера, который говорит: „Для законодателя важно сохранить гражданский порядок; защите подлежит не абстрактная жизнь, а ее безопасность. Безопасность же отнюдь не нарушается и не подвергается риску, раз умерщвление происходит согласно прямому требованию умерщвляемого".

Подчеркнем еще раз: подлежит охране не безопасность жизни данного человека, умерщвленного по собственному требованию или лишившего себя жизни при содействии другого лица, ибо он сам отказался от принадлежавшего ему высшего правового блага (жизни и свободы действия). Вместе с тем он не сделался при этом жертвой чьих-нибудь угроз или насилия.

Поэтому такое деяние не может быть приравнено ни к преднамеренному, ни к простому убийству; оно заслуживает более снисходительной оценки, и тем более снисходительной, чем выше альтруистические мотивы, легшие в основу деяния, и чем менее ценной была жизнь умерщвленного. Таким образом, рассматриваемое деяние заключает в себе, действительно, очень своеобразные черты, а значит, требует и особой трактовки в смысле наказуемости.

Правда, современное право стремится к возможному понижению наказаний, но какая-нибудь реакция закона на умерщвление человека все же необходима.

Вот почему я так настаиваю на том, чтобы человек, впавший в беспамятство и лишенный возможности выразить свою волю, не становился жертвой смертоносного вмешательства; это одинаково важно как по отношению к евтаназии, так и к содействию смерти у больных, при нынешнем уровне науки признаваемых неизлечимыми. Только в том случае, если ему еще до момента беспамятства удалось выразить свое желание избавиться от страданий, можно воспользоваться его бессознательным состоянием для того, чтобы осуществить его волю.

Итак, резюмирую: пусть остается в силе нынешний § 216 уголовного кодекса, но пусть минимальная мера наказания будет смягчена,—например, так как это предлагает проект комиссии.

Может быть, было бы также целесообразно оговорить—как и требует Э. ф. Лист—чтобы в особо выдающихся случаях содеявший не подвергался вовсе наказанию. Дело юристов решить, нужно ли, если стать на мою точку зрения, сохранить в кодексе нынешний § 216 (или § 284 проекта 1919 г.) или же он при этом условии является излишним.

Мне могут возразить, что умерщвление по серьезному и ясно выраженному требованию всегда вытекает из желания освободиться от страданий. Но здесь возможно большое разнообразие. Если, например, кто-нибудь застрелит или отравит родственника или близкого друга по определенному и серьезному требованию последнего, под влиянием его страха перед позорным судебным процессом или предстоящей опасностью на войне или, наконец, перед смертным приговором—причем решающую роль сыграло сострадание и другие вполне нравственные мотивы—то § 216 (§ 284 последнего проекта) будет здесь вполне уместен, ровно как и суровый приговор. Ибо государство не может допускать, чтобы его вводили в заблуждение. Суровую меру наказания необходимо

сохранить и для случаев умерщвления жестоким способом—в целях устрашающего воздействия и обеспечения безопасности других граждан.

Я полагаю, что принятие моего дополнения к измененной в проекте 1919 г. редакции § 216 создало бы возможность узаконить не только евтаназию (т.-е. помощь при смерти), чего до сих пор нет, но и содействие в смерти у неизлечимых больных и изувеченных в тех случаях, к гда они находятся в полном сознании и сами требуют своего умерщвления серьезно и определенно.

---

2. Сокращение жизни слабоумных.

Если выше я решительно возражал против умерщвления находящихся в беспамятстве даже в тех случаях, когда для них явно исключена всякая надежда на спасение и когда они до наступления бессознательного состояния не выразили серьезного и категорического желания быть умерщвленными, то это, разумеется, еще в большей мере относится к тем лицам, которые находятся в полном сознании и не имеют желания умереть, хотя бы они были не в состоянии отдать себе отчет в сущности смерти или умерщвления. Поэтому я решительно протестую против допустимости умерщвления лиц второй категории Биндинга. В эту категорию он включает, как мы видели, неизлечимо слабоумных людей—независимо от того, родились ли они слабоумными или их сделала такими болезнь (наприм., прогрессивный паралич в последней стадии).

„У них—говорит автор—отсутствует в одинаковой мере желание и жить, и умереть. Поэтому с их стороны не может последовать компетентного согласия на умерщвление; вместе с тем, у них нет желания жить, которое приходилось бы преодолеть. Их жизнь абсолютно бесцельна, но они не ощущают ее, как невыносимое бремя. Для общества, как и для их близких, они являются тягчайшей обузой. Их смерть не оставит ощутительной пустоты—разве что в чувствах матери или верной сиделки. Нуждаясь в постоянном уходе, они вызывают необходимость в особой профессии, которая занимается исключительно тем, что затягивает на целые годы и десятилетия их абсолютно лишенное ценности существование. Во всем этом, несомненно, много абсурдного: жизненная

энергия тратится для совершенно нестоющей цели. С другой стороны, Биндинг не видит „ни правовых, ни социальных, ни религиозных, ни нравственных оснований— к тому, чтобы долгое время поддерживать эти карикатуры на человека, способные вызвать ужас в каждом беспристрастном наблюдателе".

Биндинг хотел бы инициативу в возбуждении вопросов об умерщвлении возложить на родственников или опекунов больного, независимо от того, где находится больной, под их надзором или в лечебнице. Матери, которая, несмотря на такое состояние ее ребенка, не может расстаться с ним, Биндинг рекомендует предоставить право протеста, если она возьмет на себя уход за больным или может за таковой поручиться. Вопрос о предпосылках для умерщвления лиц этой (второй) категории требует, по Биндингу, особого рассмотрения. Во всяком случае, обязательно постановление комиссии, в котором должно содержаться подтверждение неизлечимости больного, установленной согласно новейшим данным науки, и того обстоятельства, что к его умерщвлению со стороны комиссии нет препятствий. „Право умерщвления, а тем более, обязанность умерщвления не может быть предоставляемо никому, в том числе и тому, кто возбудил ходатайство: деяние должно вытекать из чувства свободного сострадания к больному". Разумеется, избавление от страданий должно производиться совершенно безболезненным способом, а применять соответствующие средства может только специально сведущее лицо.

Биндинг находит неудобным, чтобы заведующим лечебницами для идиотов было предоставлено право ходатайствовать об умерщвлении находящихся под их присмотром больных; с этим, конечно, согласится всякий, кто дорожит доверием населения к больницам и домам призрения. Но кому же взять на себя выполнение самого действия?

„В эпохи более высокого уровня нравственности,— наше время утратило всякий героизм,—этих несчастных людей освобождали бы от них самих правительственные

органы". „Но в нашу мягкотелую эпоху — восклицает автор — кто может возвыситься до признания такой необходимости, до предоставления такого права?"

Биндинг и сам не поднимается до такого героизма, чтобы настаивать на обязательном умерщвлении, а ведь для этого — к тому же в брошюре, выпущенной частным издательством, — требуется не так уж много мужества! Нет, он не желает слишком беспокоить государство подобного рода заботами. Видимо, в этом вопросе его обуревают юридические сомнения. Значит, надо предоставить заботу самому просителю, указывая ему же на необходимость выполнения намерения наиболее целесообразным способом. Если, по Биндингу, выполнение должно вытекать из чувства свободного милосердия, то — принимая во внимание, что ни родственники, ни частные врачи не возьмут на себя акта умерщвления, остаются лишь врачи психиатрических лечебниц. Они ведь и знакомы лучше, чем кто-либо, с больным, и чувство милосердия в них очень развито — иначе они не посвятили бы себя этой профессии; наконец, будучи хорошо знакомы с организмом данного больного, они, быть может, явились бы наиболее „сведующими специалистами", призванными к делу спасения.

Насколько я могу разобраться в этом вопросе, все они с благодарностью отказались бы от роли таких спасителей; позволю себе указать, что я 25 лет работаю в этой области и, в качестве председателя германского союза по воспитанию, обучению и призрению слабоумных, считаю себя компетентным в вытекающих отсюда теоретических и практических вопросах.

Приверженцы Биндинга, конечно, возразят на это: „Нас не удивляют подобные рассуждения. Кто принадлежит к бесполезной профессии, которая ставит себе целью сохранять лишенные ценности жизни, для того здесь — вопрос узкого интереса, эгоистической выгоды".

В ответ на это считаю нужным указать, что работа над слабоумными не была бесполезной в прошлом и не будет таковой в будущем. Но — утверждают сторонники

Биндинга—бессмыслица в том и состоит, что собирают идиотов и слабоумных и тратят усилия и деньги на их воспитание и призрение, чтобы в конце концов превратить их все же в неполноценных членов человеческого общества. По моему, напротив, миссионеры, посвятившие себя заботам об обездоленных членах общества, достойны искренней признательности. Они самоотверженно привлекают к себе эти асоциальные и антисоциальные элементы для того, чтобы создать для них сносные условия жизни, а человечество охранить от злодеяний и вреда, которые творились бы этими несчастными. Но этого мало: в таких учреждениях приобретают трудоспособность и возможность жить своим трудом многие тысячи людей, которых иначе пришлось бы кормить в богадельнях и санаториях до их естественной смерти.

Здесь я упомянул лишь о материальных ценностях, которые, так сказать, попутно создаются лечебницами для идиотов. Но значение этих лечебниц гораздо шире.

Д-р Лемме (Гейдельберг) справедливо говорит: „В призрении идиотов заключаются очень значительные этические ценности и моральное значение их призрения чрезвычайно важно для страны".

С своей стороны прибавлю, что дома призрения и в другом отношении создают нравственные и практические ценности, обслуживающий их женский персонал, выдающийся по терпению и выносливости, упражняется здесь в правильном воспитании и питании детей, а также в уходе за ними, что впоследствии может сослужить огромную службу в применении к собственным и чужим детям. Кроме того, я при осмотрах интерната группами или отдельными лицами, всегда наблюдал потрясающее впечатление, выносимое посетителями, видел, как это пробуждает в них благороднейшие стремления к борьбе с нашими социальными бедствиями.

Если вообще можно говорить о растрате физической и психической энергии при уходе за идиотами, то она совершенно ничтожна в сравнении с той, которая проявляется в порнографической литературе и низменном

искусстве и которая до такой степени отравляет народную жизнь, что все помыслы направляются исключительно на чувственность. Вот где источник значительной доли тех бедствий, которые приводят в заведения для идиотов! Другая же часть происходит от того, что слишком много психической энергии затрачивается на накопление материальных благ. Собирание денег и имущества всякого рода не может не итти в ущерб общему благосостоянию. Положение рабочего класса и среднего сословия все более ухудшается, а это чрезвычайно затрудняет воспитание здоровых детей. Между тем, именно в них— запасы сил страны, а вовсе не в изнеженных отпрысках высших классов, весьма скоро воспринимающих приемы родителей и теряющих всякую социальную ценность.

Проф. Бумке (Мюнхен), один из самых известных германских психиатров наших дней, в своем труде „Культура и вырождение" убедительно, на мой взгляд, доказал, что все явные признаки вырождения могут быть отнесены за счет внешней среды, социальных факторов и что в соответствии с этим должны приниматься меры борьбы. Я тоже утверждаю: поменьше легкомыслия при швырянии деньгами для эгоистических целей, побольше чувства общественности, более справедливое обложение крупных доходов и распределение заработной платы и труда. Эти и другие социальные меры, проведенные сильной рукой, облегчили бы множество социальных неурядиц и устранили бы положение, при котором из бедноты и нищеты выходят „бесполезные паразиты". Этим последним можно противупоставить те вредные паразиты человеческого общества, которые с бесстыдной ловкостью удорожают народное питание, понижают до нищенских размеров оплату труда и набивают себе карманы бешеными прибылями, из которых жалкие крохи от поры до времени отчисляются на социальные нужды. Разве это не расточительная растрата материальных благ, когда промышленность выплачивает своим высшим служащим гигантское содержание, достаточное для улучшения быта сотни семей?

При другой социальной политике, более справедливой и разумной, страна и сейчас уже легко могла бы покрывать те „непроизводительные расходы", которых требует содержание наших домов призрения и лечебниц. В сущности, промышленность должна была бы рассматривать эти расходы как свой „долг чести". Стоит лишь отдать себе отчет в том, из каких слоев происходят эти слабоумные, калеки и пр. В Саксонии это в большинстве случаев—дети промышленных рабочих.

О том, какую пользу обществу может принести правильно поставленная работа над слабоумными, свидетельствует опыт настоящего времени и недавнего прошлого. Анатомия нормального человека и, прежде всего, анатомия мозга многим обязана именно изучению мозга идиотов. Клинический опыт, полученный от обследования идиотов, в связи с результатами вскрытий, дают нам указания, как следует трактовать тяжелые мозговые симптомы при острых заболеваниях. Симптомы так назыв. мозгового гриппа или сонной болезни (эпидемический энцефалит) становятся более понятными благодаря сравнительно нередко встречающимся у идиотов изменениям в так назыв. центральных ганглиях (стриопаллидарный комплекс симптомов).

Но исследование мозга идиотов (Куфс, Шоб, Фогт, Вейгандт и др.) внесет свет не только в наше понимание старых и новых мозговых заболеваний, открывая тем самым и возможность борьбы с ними: оно обещает многое и для физиологии и психологии нормального ребенка в периоде младенчества. Так, проф. Бюлер (Вена) пишет в своем труде, одном из самых значительных сочинений по психологии: „Детские очаги, дома призрения для идиотов и вспомогательные школы—вот места, где лучше всего можно изучить структуру человеческого разума и главнейшие линии его развития". И далее: „Если интересующиеся психологией врачи заведений для идиотов примутся за изучение психических явлений с точки зрения теории постепенности их развития, то наши знания

в области человеческих инстинктов вскоре значительно углубятся".

Мне лично во многих моих трудах удалось, мне кажется, доказать, насколько ценной может оказаться деятельность врачей при домах для идиотов и в социальном отношении также. Ведь всякого рода социальные бедствия, массовые эпидемии и др. мы изучаем лишь по последующим проявлениям и сообразно с этим вступаем с ними в борьбу.

Наконец, что касается педагогической работы в заведениях для слабоумных и идиотов, то именно она и показала нам значение и плодотворность новых методов. Если бы—внося, разумеется, необходимые частичные изменения—у нас придерживались тех основ, какие давно уже выработаны интернатами для идиотов и вспомогательными школами, то репутация трудовой школы не была бы у нас так дискредитирована, как мы это видим сейчас. Современные методы испытания одаренности, не ограничиваемые, как прежде, схематическими испытаниями знаний, многое почерпнули именно из психологии слабоумных.

В заключение считаю необходимым обратить внимание на книгу моего почтенного сотрудника, педагогического редактора журнала по уходу за слабоумными, Р. Гюртлера, опирающуюся на более чем двадцатилетний преподавательский опыт в области развития интелекта и характера слабоумных. Не только на мой взгляд, но и по мнению выдающихся педагогов, серьезно изучивших эту книгу, метод Гюртлера в нормальной школе—примененный, разумеется с соответственной модификацией—привел бы к блестящим результатам. Но для будущих судеб германского народа молодые психопаты гораздо опаснее, конечно, чем слабоумные. Мое утверждение, что от неосмотрительного умерщвления их еще важнее воздержаться, чем от умерщвления слабоумных, которое так желательно иным фанатикам—это утверждение, надеюсь, не встретит возражений.

Подводя итог, я считаю доказанным, что работа над слабоумными, при правильном подходе к этому делу, отнюдь не пропадает даром, что из такой работы можно извлечь весьма существенные культурные ценности и для нормальной части населения.

Возникает и такой вопрос: можно ли требование Биндинга о допустимости уничтожения слабоумных достаточно обосновать юридически? Как относятся к этому другие юридические авторитеты, практически знакомые с духовной жизнью слабоумных?

Биндинг заключает свои выводы цитатой из „Короля Лира" (Кент, 5 д., 5 сцена) „Не мучьте его духа! Пусть идет! Его тот ненавидит, кто захочет и впредь его предать скупого мира жестокой пытке"!—и этой цитатой подкрепляет следующее свое утверждение: „Неизлечимому, жаждущему смерти, отказать в спасении при посредстве легкой смерти—это уже не милосердие, а нечто противоположное милосердию". Поскольку это касается таких неизлечимых больных, которые действительно желают смерти,—я с ним, как мы видели, согласен, но где нет жажды смерти, где нет страданий, там, очевидно, не может быть ни сострадания, ни милосердия.

Основываясь на своем долголетнем опыте, я утверждаю, что в заведениях для идиотов пресыщение жизнью, желание смерти или искушения на самоубийство под влиянием болезненного упадка духа наблюдаются чрезвычайно редко, лишь в единичных случаях. Даже в психиатрических лечебницах лишь очень редко приходится слышать подобные мысли от впавших в слабоумие душевно-больных, поскольку они не страдают упадком духа, для которого пресыщение жизнью столь же типично, как веселое, жизнерадостное настроение для так назыв. мании. Наоборот, они привязаны к жизни, несмотря на свое жалкое, до последней степени сужденное существование. Я помню многих больных, которые, впав в острую или хроническую болезнь, забывали свою обычную нелюдимость, доверчиво опирались на врача или сиделку и задавали тревожный вопрос: „Ведь я не сейчас умру, правда"?

Наши взрослые слабоумные, точно также как и слабоумные дети, чрезвычайно боятся смерти. Иногда отказываешься понимать, как может уместиться эта идея в их жалком мозгу, столь недоступном всяческим усилиям педагогов. Как дрожат за свою жизнь душевнобольные и особенно слабоумные, когда к ним приближаешься с каким-нибудь инструментом! Но если кто-нибудь из служащих им скажет—это иногда случается и является вполне естественным, хотя и не желательным, конечно, приемом,—что они умрут, если не сделают или не позволят сделать себе того-то и того-то, то смутный комплекс представлений о неминуемой смерти вызывает у них такое сильное и неприятное впечатление, что они тотчас же соглашаются на принятие необходимых мер.

Кто ближе знаком с жизнью заведений для слабоумных или идиотов, тот хорошо знает, что в этих человеческих „личинках" таится неодолимая жажда жизни, что они наслаждаются своим бытием в отведенных им столь тесных, границах, и что признаки подавленности появляются только под влиянием какого-нибудь телесного страдания,—в частности, раздражением мозга и воспаления мозговых оболочек,—или когда необходимость заставляет поставить предел проявлениям их игривости, жажды жизни или уничтожения.

Я решительно не согласен с тем, будто у них „нет воли ни к жизни, ни к смерти". Это может относиться разве только к прогрессивным паралитикам в последней стадии их недуга и к идиотам, страдающим—как я обычно выражаюсь—„идиотическим маразмом", т. е. постепенным угасанием жизненной силы. В обоих случаях дни их сочтены; пищи они почти уже не требуют, им нужен лишь незначительный уход, а в этом последнем человечеству не следовало бы им отказывать.

При наличии болей, действительных или кажущихся, врач умеряет их, например, приводя пациентов в состояние длительной бессознательности. Это не возбраняется и является для него истинным благодеянием. Но дать столь сильную дозу лекарства, чтобы смерть наступила

немедленно,—это уже преднамеренное убийство. Вполне правильно медиц. советник Шлегель в дискуссии о допустимости умерщвления идиотов отметил, что служащему персоналу лечебниц едва ли можно было бы предъявлять обвинения в неосторожном лишении жизни, раз умышленное умерщвление производится в их присутствии врачом. Несомненно, это нанесло бы большой ущерб интересам общества, поскольку быстро утратилось бы доверие к этим заведениям, завоеванное с таким трудом.

Разве не стали бы раздаваться голоса: „Как, вы хотите меня поместить в такое учреждение, где исподтишка убивают"? Не легко было добиться того, что домов для умалишенных не только перестали бояться, но больные часто поступают туда добровольно; с такими лечебницами стоят в тесной связи частные санатории и амбулаторные пункты. И вдруг мы оказались бы отброшенными назад в средневековье, когда госпиталей избегали точно зачумленных домов, потому что там „все равно помрешь"!

Не следует, далее, упускать из виду того ущерба, какой был бы нанесен психиатрическому уходу в самих лечебницах. Для смягчения болей и в целях лечения очень часто приходится прибегать к впрыскиванию лекарственных средств, причем и сейчас нередко наталкиваешься на отказ от такого способа подачи лекарства, как от посягательства на телесную неприкосновенность. А что будет, если станут предпринимать подобные посягательства со смертельным исходом, вдобавок преднамеренным и сознательным? Уровню здоровья масс, всей больничной жизни, а вместе с тем и все более крепнущему доверию масс к госпиталям был бы нанесен тяжкий удар.

В прежнее время, в силу единичных случаев длительной летаргии, люди боялись быть заживо погребенными, хотя таких случаев в действительности почти не было. В настоящее же время далеко не малая часть населения боится, как бы не попасть без всякой причины в „дом умалишенных" и незаконно быть там задержанным. В труде д-ра Бейера „Попытки реформы лечения душевнобольных" (1912 г.) отмечается, что в Германии

фактически не доказан ни один случай противозаконного интернирования в доме для душевнобольных. Но указанный выше нелепый предрассудок так живуч, что врачам-психиатрам приходится быть очень осторожными при приеме и задержании пациентов, чтобы не подвергнуться судебному преследованию. Повидимому, не всем известно, что о каждом случае поступления и выписки больного сообщается прокуратуре, которая в любой момент может начать судебное следствие. А если к требованиям Биндинга и Манна, к страху быть „заживо погребенным" еще прибавится опасение быть убитым в более или менее официальном порядке, то можно себе представить, как пышно зацветет семя недоверия!

Таким образом, уже в интересах здравоохранения врачи обязаны протестовать против требований вроде тех, какие выставляют Биндинг и Манн; в сравнении с тяжким вредом для общества, каких можно ожидать от подобных проектов — что значит та ничтожная экономия в средствах, какую дало бы умерщвление небольшого числа идиотов?

Для государства было бы крайне важно, если бы опытные, сведующие в психиатрии врачи вели подробную и постоянно пополняемую историю болезни каждого отдельного ребенка; раньше чем пришлось бы обратиться к услугам „комиссии умерщвления", должны быть исчерпаны все терапевтические и специально педагогические возможности для излечения ребенка. Последнее важно хотя бы потому, что и комиссия может вынести правильное заключение только на основании веских данных. В противном случае весь этот план вскоре оказался бы обреченным на неуспех. Получилось бы то же, что говорилось выше: никто не захотел бы участвовать в подобных комиссиях. А что, еслибы не удалось добиться единогласного решения? Тогда пропала бы даром вся работа, а расходы по организации легли бы бременем на все население.

Городской советник Лигница Борхардт, повидимому, особенно интересуется неизлечимо слабоумными. Его

законопроект предусматривает лишь вторую категорию Биндинга. Он насчитывает 83.400 слабоумных на 60 милл. населения Германии и из них неполноценных считает 50%, т. е. 41.700. Каковы основания, приведшие его к такому подсчету, об этом он, насколько мне помнится, не упоминает. Во всяком случае он предпочел бы, чтобы освобождающиеся таким образом миллионы марок тратились на меры, подымающие общий уровень благосостояния в стране, на пенсии престарелым, на создание и содержание домов для калек, высших народных школ и пр. Проектируемые им (подобно Биндингу) разрешительные комитеты должны включать в себе юристов-практиков и трех врачей-специалистов, избираемых медицинским факультетом, в том числе одного профессора. Этот комитет выносит в закрытом заседании окончательное решение по ходатайствам родственников больного или Союза*) перед опекунским судом. Последний собирает отзывы пользующего врача, врача дома призрения или, в некоторых случаях, окружного врача. Комитет подвергает слабоумного освидетельствованию, возлагает на одного или двух своих членов наблюдение и доклад по делу, опрашивает свидетелей и вообще собирает необходимые справки.

В заключение просителю предоставляется принять меры к умерщвлению слабоумного, привлекая для этой цели подлежащего окружного врача. Последний либо сам осуществляет умерщвление, либо присутствует при этом в том случае, если дело возложено на другого врача. При выполнении обязательно присутствие судьи и протоколиста, а составленный по делу протокол препровождается в комитет. Умерщвление должно проводиться безболезненным способом и согласно правилам науки. Платы не взимается: расходы по даче отзывов, наблюдению, служебным раз'ездам и погребению берет на себя Союз призрения бедных.

Последний пункт об'ясняется тем, что названный Союз, ныне действующий орган призрения, благодаря легали-

*) „Союз" или „Общество" призрения бедных.

зации умерщвления будет сберегать большие суммы, а это даст возможность отказаться от принудительных денежных сборов. К тому же при проектируемом порядке родственники станут чаще прибегать к возбуждению ходатайств.

Таким образом, Борхардт заходит еще дальше Биндинга, распространяя право подачи заявлений и на союзы по призрению бедных и не настаивая на единогласном постановлении разрешительного комитета. Но и здесь процесс, как мы видели, очень громоздок и дорог. Требуется наблюдение в течение многих недель, а это может быть выполнено с успехом только в лечебнице. Таким образом, и по Борхардту не обойтись без домов для идиотов. Ибо наблюдения в таком заведении, где ребенок-идиот не поставлен в удовлетворительные условия среди других детей, лишено было бы на мой взгляд доказательной силы. С другой стороны, пришлось бы сохранить интернаты и для таких детей, родители или опекуны которых не желают ходатайствовать об умерщвлении.

Мысль Биндинга о том, что лица, не соглашающиеся на умерщвление, обязаны принять на себя уход или, по крайней мере, расходы по таковому, совершенно не учитывает социально-бытовых условий. Откуда же бедной семье, которая, быть может, особенно нежно привязана именно к этому несчастному ребенку, взять необходимые средства? Не отнимать же у бедной, одинокой вдовы последнего, что, может быть, ее еще связывает с жизнью, с прошлым! Не наказывать же ее, налагая непосильные во многих случаях тяготы или обременяя ее самим ребенком, за которым она должна день и ночь присматривать! Для того чтобы поместить его в обстановку хорошего интерната, у нее нет средств, а держать его при себе—это значит не иметь досуга, чтобы заработать на пропитание себе и ребенку. Предъявлять подобное требование, очевидно, немыслимо.

Не забудем также, что эти дети иногда представляют опасность для окружающих; они возятся у горящей печи, могут открыть газовый или водопроводный кран, опроки-

нуть керосиновую лампу, днем и ночью тревожат других детей, производят переполох по всему дому и беспокоят нервы своих близких. Конечно, мне могут возразить, что именно подобные случаи доказывают всю экономическую и социальную ценность требования Биндинга, Борхардта и других. Но ведь такого рода социальные опасности иногда грозят и со стороны всякого психического больного, и потому-то так важно расширить и умножить число лечебных заведений, где они во всякое время нашли бы приют и уход.

За время моей продолжительной деятельности в Гроссгеннерсдорфе, несмотря на безотрадный в большинстве случаев и абсолютно не поддающийся обучению состав питомцев, мне удалось многих детей избавить от привитых неправильным воспитанием наклонностей и вернуть их в лоно семьи, где они снова стали предметом нежного внимания со стороны родителей, братьев и сестер. Именно те дети, для которых природа явилась мачехой, особенно нуждаются в поддержке. Рассказывают, что некий старик Бодельшвинг, на вопрос одной высокопоставленной дамы, которую он водил по детскому отделению—не лучше ли было бы этих бедняжек безболезненно отправлять на тот свет,—возразил: „Так ли ты рассуждала бы, будь среди них твой собственный сын"?

Когда я тот же вопрос задавал людям, не совсем лишенным сердца, я сразу же обнаруживал в них резкую перемену: „Об этом я и не думал: с этой точки зрения дело приобретает совсем иной вид".

Обратимся теперь к доводам одного выдающегося юриста, одобряющего положения Биндинга об устранении неизлечимых слабоумных. Проф. Клее (Берлин) также видит в них балласт, паразитов, к которым приложимы те же социально-гигиенические меры, что и к преступникам. По мнению Клее, смертную казнь, которую отвергают, как явление противоречащее культуре, следует рассматривать не как форму возмездия, а лишь в плане социально-гигиеническом; с точки зрения детерминизма: преступники—такие же жертвы судьбы, как и слабоумные,

это—духовные мертвецы. Из социально-гигиенических соображений психически больные подвергаются такому же лишению свободы, как и воры, только в другом учреждении. Поэтому у нас нет оснований бояться за принципы права и справедливости, когда мы применяем против тех и других однородные меры

Признать допустимым их умерщвление—это, по его мнению, золотая середина между крайностями язычества и христианства. Истинное христианство «полне совместимо с подобным актом истинного сострадания. Он берет положение Ф. Экснера: „справедливость—это вчерашняя целесообразность, и понятие о том, что справедливо, коренится в ранее осознанной социальной потребности"—и продолжает ход мыслей этого автора. „Сегодняшняя целесообразность—это справедливость завтрашнего дня". Вообще соображения целесообразности, практические ростки которых намечаются уже сейчас, в будущем войдут в состав этических, а может быть, и религиозных воззрений.

На мой взгляд, можно принять положение Экснера, но обратную формулу, выставляемую Клее, приходится решительно отвергнуть. Уверены ли мы, что то, что сейчас признается целесообразным, не окажется в будущем лишенным всякой целесообразности? Признак Клее не годится в качестве мерила, ибо изменения как в той, так и в другой области происходят лишь очень медленно.

Когда Клее в начале своего труда намечает грань между философски-правовой и уголовно-политической стороной проблемы и указывает, что уголовно-политические соображения заставят законодателя усумниться в допустимости уничтожения чужой жизни на одном лишь основании согласия носителя ее, то я не могу не приветствовать его выводов. Возможность злоупотреблений, принцип святости чужой жизни—это, по мнению Клее, весьма ценные союзники законодателя в его борьбе с лишением жизни. Но если так, то почему же он требует или допускает уничтожение неизлечимо слабоумных?

С точки зрения философско-правовой преступление против чьей-нибудь личности есть, по существу, акт

отрицания чужой воли. Однако, если носитель блага жизни сам из'ял волю к жизни из сферы принадлежащих ему благ, то нет той воли, которая отрицалась бы убийством. Но ведь большинство неизлечимо-слабоумных, как я уже указал, отличаются, напротив, страстным желанием жить и, значит, нарушение этого желания все-таки преступно. Очень характерно, что Гош совершенно оставляет в стороне прогрессивных паралитиков, находя, что их жизнь нередко представляет высокую ценность — достаточно вспомнить хотя-бы трагическую фигуру Ницше. Он вносит в свой проскрипционный список 3—4 тысячи идиотов, лишенных всякой духовной жизни, малейшего контакта с окружающим миром, тогда как сам он определяет число содержащихся в домах призрения Германии идиотов в 20—30 тысяч. Устранение 3—4 тысяч идиотов с точки зрения экономии в средствах имеет, конечно, ничтожное значение. Снять с нескольких тысяч родителей, с нескольких общин и домов призрения это бремя на несколько лет—много ли средств это сбережет?

Моральный же ущерб от такого пренебрежения к чужой воле был бы огромный. Мы неминуемо покатимся по наклонной плоскости, как только допустим умерщвление хотя бы и самых безнадежных идиотов. Ибо границы допустимого на практике очень скоро стерлись бы — пример этого мы видим хотя бы в рассмотренном выше „Спасении человечества от бедствий" Э. Манна. Против физического уничтожения духовно мертвых протестует не только наше непосредственное чувство, но и доводы разума. „Всеми мерами—говорит Шопенгауэр—надо содействовать целям природы, раз на лицо воля к жизни, составляющая ее внутреннюю сущность".

Клее вместе с Шопенгауэром, В. ф. Гумбольдтом, Миллем и Иерингом принимает старый юридический принцип: „Volenti non fit injuria" (при наличии согласия нет места преступлению). Но в таком случае имеет право на признание и обратное: nolenti fit injuria (при отсутствии согласия имеет место преступление). А идиот, в противуположность умирающему в мучениях или тяжко страдаю-

щему неизличемо больному, вовсе не жаждет смерти: в большинстве случаев он, напротив, страстно хочет жить. Итак, против допустимости их умерщвления говорят и философско-правовые и практически-социальные, и, наконец, уголовно-политические соображения.

Эбермайеру требование Биндинга представляется в высшей степени рискованным, хотя и он, подобно этому последнему, признает жизнь слабоумных совершенно бесцельной и тягостной для окружающих. Хотя он—вместе с Биндингом и Клее—думает, что у них нет воли ни к жизни, ни к смерти, но, как он вполне правильно указывает, желания умереть здесь во всяком случае нет. Тут третьи лица решают вопрос „быть или не быть" человеку, приговаривают его к смерти, не спросив его мнения, да и не имея возможности это сделать.

С таким положением вещей право, на мой взгляд, мириться не может, тем более, что здесь еще труднее избежать злоупотреблений, чем в остальных двух случаях (евтаназия, содействие к смерти неизлечимых, настаивающих на умерщвлении).

Действительное сочувствие и сострадание к слабоумным детям доступно только тем, кто имел возможность присмотреться к ним близко. И тогда становится очевидным, как мало они сознают свои страдания, как они привязаны к жизни и как стремятся ее расширить. Конечно, бывают единичные исключения обусловленные органическими мозговыми расстройствами, но эти последние легко устраняются медицинскими средствами. У тех же, кто ближе не присматривался к этим детям и не прислушивался к их внутренней жизни, тщетно искать сострадания. Они жалеют только о себе, как о членах общества, и о том, что подобное вырождение вообще возможно. В их чувстве—значительная примесь эгоизма, и потому к нему надо относиться с большой осторожностью. Таким образом, здесь умерщвление не было бы актом сострадания к больному—в противоположность тому, что люди испытывают по отношению к тяжко страдающему, неизлечимо боль-

ному, которому нельзя не сочувствовать от всей души: здесь оно явилось бы насильственным попиранием чужой воли к жизни.

Одного сострадания для признания этого акта допустимым недостаточно, так как только об'екту деяния принадлежит право решения вопроса о том, что для него важнее, жить или не жить. Кто осмелился бы сократить чужую жизнь без настойчиво проявленной воли, а тем более, вопреки этой воле, — тот подлежал бы каре за убийство, а руководившее им доброе намерение могло бы сыграть роль лишь смягчающего вину обстоятельства. Если же умоляющий о своем умерщвлении невменяем, то его просьба вообще не имеет значения.

Итак, умерщвление слабоумных психически-больных остается убийством даже при наличии наилучших намерений.

Если Вахенфельд и Франк, высоко-авторитетные юристы, признают правомерность выражения воли к умерщвлению (в порядке § 216) и за несовершеннолетними, если ф. Гольцендорф считает правомерным даже выражение воли психически-больных, то во всяком случае там, где нет воли к смерти и нет ощущения бремени жизни, как у слабоумных, умерщвление является преступлением.

К числу затруднений юридического свойства, которых следует ожидать от умерщвления идиотов, прибавятся еще и формальные, особенно в области гражданских законов. Очевидно, в этих случаях нельзя было бы обойтись без согласия родителей или опекунов. А если между родителями возникает разногласие по поводу предложенного комиссией сокращения жизни, — на чьей стороне должен быть тогда перевес—отца или матери?

В пользу отца говорит обычай, а в пользу матери наше естественное чувство: именно ей, как наиболее заинтересованной стороне, принадлежит последнее слово. Может быть, назначить в таком случае постороннее лицо в качестве опекуна? Но если суд знает опекуна, если суду известен его сочувственный взгляд в вопросе об умерщвлении, то все сведется к недостойной игре, при

поддержке закона. Если же опекун по убеждению займет отрицательную позицию, то ведь достаточно и отрицания со стороны хотя бы одного из родителей.

Можно себе представить, какой разлад все это может вызвать в семье — например, если один из родителей входит в комиссию с ходатайством, а другой противится этому. Жене сплошь и рядом придется насиловать себя и уступать настояниям мужа, особенно если она лишена возможности самостоятельно нести расходы по интернированию. И это называется свободным решением? Боюсь, что из такого положения могут создаться тяжелые душевные драмы, от которых рискует погибнуть не одна ценная человеческая жизнь. И что мы в конце концов этим выиграем? В некоторых случаях, когда за ребенком имеется имущество, суду пришлось бы назначить опекунов, но и последние могут подвергаться давлению с той или иной стороны.

По общепринятому толкованию § 1 Св. гражданских законов, идиот с момента вступления в жизнь так же правоспособен, как и всякий другой; за ним признается право на жизнь. Если предполагается путем издания нового закона отнять у него это основное право, то для суда—не говоря уже ни о чем прочем—это создает крайне тяжелые условия работы. Ибо, если сейчас лишь в редких случаях приходится назначать опекунов для безумных и слабоумных детей, то при новых условиях опекунство всегда окажется неминуемым, по чисто формальным причинам. Думаю, что нецелесообразность такого нововведения очевидна.

На этом можно было бы и закончить разбор предложений Биндинга. Остановлюсь лишь еще на одном пункте, где он впадает в противоречие поистине трагическое.

Разумеется, им руководила важная идея, высокая цель освободить общество от тяжелого бремени. Но ведь приблизительно так рассуждает и соучастник в самоубийстве, тоже не чуждый эгоизму: он тоже станет оправдываться тем, будто самоубийца только и желал лишить себя жизни, что жизни его все равно была „грош цена",

и что его имущество может пойти на пользу другим лицам. Разница, как мы видим, не так уж велика, а между тем, к соучастию в самоубийстве Биндинг, как мы уже знаем, относится отрицательно Особенно же трагично следующее противоречие: Биндинг, честный и чистый идеалист, выставляет требования, являющиеся, по справедливому замечанию Бреннека, логическим следствием господствующего ныне материализма!

Известный криминалист Иеллинек замечает: „Стремясь к исправлению преступника, государство как бы искупает этим заключающуюся в каждом преступлении коллективную вину; оно принимает меры к устранению гибельного влияния социальных факторов, которые обусловили характер и деяние правонарушителя". В отношении идиотов условия, на мой взгляд, точно те же. И здесь на государстве, на коллективе лежит обязанность призрения, воспитания и, по возможности, развития хотя бы некоторой способности к труду. Здесь коллективная вина состоит в том, что, в конечном счете, именно социальные недочеты (алкоголизм, венерические болезни и пр.) создают столь безобразные в духовном смысле существа.

Конечно, самый простой способ искупить эту вину—уничтожать таких духовных уродов,—по возможности, безболезненно. Но подобные насильственные приемы никогда еще не приносили пользы культуре. Они признаются закономерными только в случаях крайней необходимости. Такая необходимость была налицо, например, в последний год войны и в первые два года после ее окончания. Если бы тогда решились на такой шаг с целью сохранения от голодной смерти духовно-нормальных граждан, то только под давлением исключительной, крайней нужды—вспомним, напр., процесс „Миньонеты", где обреченная на голодную смерть судовая команда с'ела юнгу. И если даже в то время не могли решиться на такой опасный в социологическом смысле шаг, то сейчас, когда острая нужда давно миновала, о подобных проектах не может быть и речи.

Выводы Биндинга, несомненно, не вызвали бы столь страстного внимания и интереса, если бы их не сопровождало предисловие и послесловие известного психиатра, проф. Гоша (Фрейбург). Года за полтора до появления брошюры Биндинга, в ноябре 1918 г., Гош выступил в Фрейбургском университете с боевой речью, вышедшей затем отдельно под заглавием „Об умирании". Долг врача, по Гошу, облегчить умирание тем, кто обречен на смерть в страданиях, но при том непременном условии, чтобы этот акт не повлек за собой сокращения срока жизни.

В согласии с этим, в послесловии к брошюре Биндинга он приводит несколько ярких примеров из своей личной практики в доказательство того, что врач поступил бы неправильно и не этично, если бы сократил чью нибудь жизнь, руководствуясь только пожеланиями близких или эгоистичными (напр., научными) интересами. И тут же, на следующей странице—наступает неожиданный и резкий поворот.

Сохранение чужой жизни во всех случаях—это вовсе не абсолютный, а относительный долг врача, заявляет Гош. Врачебную этику нельзя рассматривать как нечто вечное и незыблемое: меняются условия—и с ними вместе меняются частично и ее заповеди. Исторический процесс красноречиво доказывает это. Когда, например, умерщвление неизлечимо больных или духовно мертвых пациентов не только будет признано допустимым, но окажется даже полезным для общественного блага, из врачебной этики тоже исчезнут доводы против этой системы.

Гош прав, когда возражает против применения к умирающим приемов для продления жизни; эти приемы, диктуемые категорическим принципом сохранения жизни, в подобных случаях не только бесполезны, но и увеличивают без нужды мучения больных. Вместе с Гошем я готов признать, что прямолинейный, голый принцип не должен был бы в подобных случаях связывать совесть врача. И надо сказать откровенно: в применении таких приемов повинны многие из нас, врачей.

Гош надеется, что когда-нибудь человечеству привьются черты героизма, подобные тем, какие проявляют иногда полярные путешественники: в одном случае, с целью поднять шансы на сохранение жизни участников экспедиции, выстрелом в спину уложили одного из товарищей, нарушившего порядок распределения пищи, а в другом приняли добровольную жертву — смерть одного из участников в снегах. Только тогда, когда такие настроения привьются массам, можно будет, по его мнению, приступить к осуществлению тех теоретических требований, какие возникают в этой области. И он пророчески заканчивает: „Настанет время, когда из соображений высшей морали перестанут следовать нынешним нормам, диктуемым ложно понимаемой гуманностью и преувеличенной оценкой существования, как такового".

Особенно его раздражает „человеческая шелуха" — как он считает возможным называть идиотов: в противоположность паралитикам и другим, впавшим в безумие, душевнобольным, идиоты особенно тяжело, по его мнению, обременяют существование общества, доживая иногда до семидесяти лет. Было бы интересно присмотреться также к воззрениям Гоша по вопросу о сострадании и о том, как суб'ективно ощущают жизнь эти „духовные мертвецы", но этого нам еще придется коснуться дальше. Здесь же отметим только одно: все гарантии технического свойства, какие Гош видит в проектируемых Биндингом комиссиях, не в силах будут помешать возникновению острого недоверия к домам призрения идиотов, когда в них начнут работать комиссии по лишению жизни. А ведь врач, как справедливо напоминает Штрассман, „ни при каких обстоятельствах не должен становиться палачом ни в чем неповинных людей".

Как же это случилось, что крупный психиатр с таким широким кругозором, как у Гоша, мог оказаться сторонником явно несостоятельных предложений Биндинга? Его точно загипнотизировал этот „пламенный мозг с холодным и острым умом", как он метко определяет Биндинга в некрологе, приложенном к брошюре. Должен

признаться, что я и сам с трудом освободился от гипнотизирующего влияния Биндинга, хотя—в противоположность Гошу—лично не знал его.

Кроме Гоша, мне известен еще только один случай официального выступления психиатра в защиту идей Биндинга. Это д-р Р. Генель (Дрезден) с его сделанным в 1922 г. докладом: „Правомочен ли врач на умерщвление". Докладчик стоит за расширение пределов ненаказуемости и предлагает лишать жизни таких идиотов, на излечимость или улучшение состояния которых нет никакой надежды. По его мнению, уничтожение в этих случаях более нравственно, чем поддержание жизни. Ему возразил проф. Ганзер, который стоит, повидимому, на той же точке зрения, что и я. Принцип неприкосновенности жизни—заявил Ганзер—должен оставаться незыблемым, иначе мы пришли бы к таким бедствиям, каких сейчас нельзя и предвидеть. Что до соображений экономии, то им ни в коем случае нельзя придавать решающего значения; гуманистические идеи культуры вообще неэкономны и нередко требуют от общества материальных жертв. Немыслимо предоставить врачу право уничтожения жизни: это отняло бы у масс сознание ценности жизни. К Ганзеру присоединились член судебной палаты Кранер и ряд других юристов и психиатров, другая же часть собрания признавала допустимым помощь при умирании душевно здоровых пациентов (Вейсвангс, Ильберг, Гейн).

С большим искусством высмеивает доводы Биндинга и Гоша д-р Ваушкун: „надолго ли—ядовито спрашивает он—им хватит душевнобольных и чья будет затем очередь—инвалидов труда, глухонемых и т. д"?

Обстоятельно разбирает брошюру Биндинга—Гоша Бреннеке: он упрекает Биндинга в неполноте его схемы „трех категорий" людей, подлежащих уничтожению.

Чтобы быть вполне последовательным, Биндингу—по мнению Бреннеке—следовало бы к этим трем прибавить еще и четвертую, а именно—антисоциальные элементы, людей нравственно убогих и преступников-рецидивистов;

все они, пока живы, лежат на обществе тяжким бременем, а зачастую даже прямо опасны. Исходя из трансцедентального идеализма Шопенгауера, он остроумно вскрывает всю ложность избранного Биндингом и Гошем пути и показывает, как они—разумеется отнюдь не желая этого—играют в руку „крайнему эгоизму и тунеядству" нашего времени.

Проф. Кельнер (Гамбург) в своих „Письмах из Альстердорфа" (1921 г.) идет даже дальше: возмущаясь этой „пропагандой массового насильственного истребления слабоумных", он находит, что проектируемая мера—это, в сущности, ни что иное, как убийство с корыстной целью Ибо, тот кто убивает безоружного человека, чтобы избегнуть материальных затрат, нисколько не выше того, кто убивает ближнего с целью грабежа Это—злодеяние, которое, в свою очередь, порождало бы все новое и новое зло. Разве можно установить с точностью грань между слабоумным и неизлечимым, психически или телесно, больным?

Проф. Вейгандт, директор государственных психиатрических больниц в Гамбурге, подверг беспристрастному разбору все доводы за и против идей Биндинга, исходя из принципов современной культуры. По его мнению, доводы в пользу истребления неполноценных жизней ни при каких условиях не могут уполномочить к созданию правовых норм, а соображения экономии даже в нынешние бедственные годы недостаточно вески. Мотивы же расовой гигиены в применении к абсолютному идиоту, лишенному способности размножения, и совсем не имеют значения.

Проф Гуггисбергер (Базель) теоретически готов признать допустимым лишение жизни т. наз. неизлечимых телесно больных при наличии их желания умереть, но в практическом выполнении этой меры видит непредолимые трудности: во-первых, неизлечимость многих недугов не может быть бесспорно доказана, а затем, выбор момента для лишения жизни—дело чрезвычайно спорное. Ведь больной, сегодня признанный неизлечимым, завтра может быть излечен. До последней минуты врач обязан

поддерживать тлеющую в большинстве больных искру надежды. Очень редко больной спокойно перенес бы вынесенный ему смертный приговор: это обрекло бы его на страдания, еще худшие чем телесные муки, которые все же можно облегчить медицинскими средствами. Едва ли многие больные нашли бы в себе мужество пойти на казнь.

Эти соображения, частью уже известные нам из предыдущего, я не могу все же принять целиком. Вопреки утверждению Г. Гуггисбергера, на свете не мало сильных духом и волей людей, которые все же выражают желание умереть и настаивают на умерщвлении. Выбрать подходящий момент и способ—это дело врача. Примешивать же сюда органы власти я считал бы нецелесообразным.

Переходя теперь к анализу второй категории Биндинга, Гуггисбергер справедливо отмечает, что полуидиоты, численность которых значительно больше, лежат на обществе гораздо более тяжким бременем, так как они принимают участие в общественной жизни, сталкиваются с другими людьми и производят потомство. Но вероятно, и сам Биндинг не настаивал бы на их поголовном истреблении. С другой стороны—спрашивает Гуггисбергер—где государству набрать людей, для комплектования разрешительных комиссий? Ведь профессия палача, который еще с времен древности по поручению государства отправляет на тот свет подонки человечества, и в наши дни вызывает всеобщее отвращение. Не будут ли точно так же относиться и к людям, убивающим неповинных людей только за то, что государству приходится на них тратиться?

Приведенных выше откликов, надеюсь, достаточно для того, чтобы доказать, насколько сплоченно выступают врачи против идей Биндинга - Гоша. Это, конечно, не случайность. И дело вовсе не в том, будто медицинская среда недоступна течениям новейшей мысли. Нет, дело тут в глубоко проникшем в их сознание общем взгляде на человеческую природу, с нею врачи соприкасаются

ближе, чем кто-либо и потому их суждения и обладают в подобных вопросах особым весом.

Даже богословы выступают здесь далеко не сомкнутым фронтом. Незадолго до появления брошюры Биндинга-Гоша я состоял в переписке с автором „Личности Иисуса", проф. К. Вейделем (Магдебург). Уже тогда он считал поддержание жизни неизлечимых слабоумных детей столь же бесполезным делом, как и деятельность египетских монахов, которые, упражняясь в самоотречении, сажали в землю сухие сучья и ежедневно их поливали. Бесцельная работа есть бессмысленная трата подлежащей лучшему использованию энергии, и потому есть акт безнравственный. Кроме того—какой смысл сохранять телесную жизнь, полную страданий?

Когда я попросил его указать в евангелии, места, из которых можно было бы заключить, как отнесся бы Христос к этой проблеме, если бы ему пришлось с ней столкнуться, Вейдель, как и другие запрошенные мною богословы, не мог мне дать ответа. Ибо такие места, как: „Пусть мертвые хоронят своих мертвецов"—в том смысле, что работа над духовно мертвыми людьми не есть задача духовно живых—или: „Не мечите бисера перед свиньями", (т. е. там где любовь не может подвинуть на добро, там она—бесцельная растрата)—эти цитаты можно толковать очень различно.

Но очень любопытно то, что этот профессор богословия еще задолго до войны выставил требования, существенно важные в интересах будущности нашей страны—и после войны они зазвучали, конечно, еще громче и понятнее. Таково его требование заявлений о каждом случае венерического заболевания, требование защиты материнства, привлечения отцов к воспитанию внебрачных детей, устранения позора внебрачного рождения, борьбы с двойственной половой моралью и с интернированием проституток, стерилизации наследственно больных, являющихся опасностью для будущих поколений, облегчения воспитания детей путем прогрессивного уменьшения налогов, жилищных мероприятий и пр. Все это—проблемы, дей-

ствительно тесно связанные с темой Биндинга: все эти меры обещают гораздо больше пользы, чем требуемое Биндингом умерщвление неизлечимых слабоумных.

Известный педагог и богослов д-р Тренбах (Ауербах), с которым я связан личной дружбой, находит, что хотя христианская любовь обязательна и в отношении неизлечимых слабоумных и душевно-больных, но строить дворцы для совершенно неработоспособных людей в ущерб и на гибель трудоспособным, которые, будучи здоровыми, платят налоги, тогда как первые от таковых освобождаются—значит явно впадать в крайность. Еще большой вопрос, нужно ли вообще поддерживать именно их жизнь. Поэтому он вовсе не возражает против всякого самоубийства, как такового: тот, кто чувствует, что его смерть снимет тяжелое бремя с других, и потому убивает себя, отнюдь не нарушает законов морали. Из учения Христа нельзя вывести прямого ответа на предложения Биндинга, так как в ту эпоху болезни рассматривались под совершенно иным углом зрения, и социальные условия существенно разнились от нынешних, так что об обязанностях государства в отношении нуждающихся в помощи не могло быть и речи. Но раз сокращение жизни продиктовано добрым намерением, то оно тем самым уже является нравственным деянием, даже при наличии ошибки в диагнозе.

В конце концов решающим в данном случае является, по Трендорфу, мировоззрение. Он сам, будучи последователем плюралистического реализма Лейбниц-Гербарта, держится того мнения, что фактически существующее и постоянно нами переживаемое единство сознания не может быть об'яснено материалистическо-монистским пониманием мира. Согласно этому последнему, душевная жизнь человека—это ни что иное как сумма изменений в мозгу, и потому дурно работающий мозг, обусловливающий ненормальную душевную жизнь, можно без колебаний уничтожить. Напротив, с точки зрения идей Лейбниц-Гербарта суще ствующая в мире единая реальная душа („монада") неистребима, она вечна, как вечны атомы. Но по настоя-

щему она становится душой лишь тогда, когда в ней при посредстве мозга пробуждаются и перерабатываются духовные явления. Если мозг, устроенный несовершенно, отказывается исправно служить душе как это наблюдается у идиотов—то тот, кто уничтожает этот несовершенный мозг лишь освобождает душу от негодного орудия. Поэтому поддерживать жалкую, исключительно физическую жизнь организма, не одухотворенную ни малейшим лучом духовности—значит попусту затрачивать силы. Тем более, что при известных условиях из-за подобного прозябания лишаются жизненных благ другие, более ценные личности. Разумеется, Трендорф берет здесь те случаи, когда врач имеет полную возможность установить, что психика данного больного действительно неспособна к развитию.

Здесь, как мы видим, идеалистическое мировоззрение на основах идей Лейбница,—правда, отвергаемых позднейшими философами—приводит в конечном счете к тем же заключениям, что и материализм. Но во всяком случае, такое обоснование сокращения жизни неизмеримо выше того, что говорят сами Биндинг и Гош. Особенно же отрадно отметить, что, как мы сейчас видели, даже богослов оправдывает самоумерщвление в том случае, когда оно совершается не под влиянием психической подавленности, а по нравственным мотивам. Это лишний раз показывает, что единственный правильный подход к явлению самоубийства есть подход психиатрический или, точнее, „психиатрически-психологический". „Если и существуют моральные доводы против самоубийства, то они, во всяком случае, заложены так глубоко, что ножом обыденной этики до них не добраться, (Шопенгауер).

В связи со сказанным уместно привести слова Лемме (Гейдельберг), тоже известного богослова: „Христианство отвергло убийство детей, присущее древности (перфорация головки, аборты), как отвергло и умерщвление рабов, стариков и слабосильных. Христианский взгляд на бесконечную ценность человеческой души не допускает своевольного умерщвления человека. Но с другой

стороны, государство не может безоговорочно стать на путь индивидуальной христианской этики, ибо ведь не все граждане христиане и не все поступают по христиански – вспомним, напр., дела о принесении присяги, о разводе, о лишении жизни. Создавая свое право, оно вынуждено исходить из собственных жизненных нужд. Поэтому-то, запрещая убийство отдельному христианину, государство сохраняет это право за собой для тех случаев, когда убийства требуют жизненные интересы общества. А если так, то уничтожение жизни, хотя бы и малоценной, может исходить лишь от правительственного учреждения, специально уполномоченного на это. Таким образом, право умерщвления не может быть предоставлено родителям, врачам, руководителям лечебных заведений, вообще каким-нибудь отдельным лицам, а только государственному учреждению, состоящему из врачей и экспертов духовного звания, с участием родительского совета. Во всяком, случае родителям или опекунам должно быть предоставляемо безусловное право veto.

Может ли христианская этика мириться с существованием подобного государственного учреждения? Отвечая на этот вопрос, Лемме исходит из своих наблюдений в одной лечебнице для идиотов: рядом с детьми, в которых, благодаря самоотверженному уходу диаконисс, развились глубокие религиозные идеи, немало было и таких, чье существование ограничивалось чисто растительными процессами или жизнью животных. В отношении последних Лемме не находит возможным говорить о вечной ценности человеческой души и потому в этих случаях умерщвление, по его мнению, нисколько не противоречило бы христианской этике

Определить с точностью, где кончается душевная жизнь и начинается духовная смерть, конечно, нелегко, но тот орган, которому было бы поручено лишение жизни, безусловно обязан был бы выносить определенное суждение по этому ответу.

Вместе с тем нельзя отрицать, что разрешительные законы в этой области могли бы сделаться обильным источником злоупотреблений.

В связи с изложенными в первой части этой книги суждениями, здесь не безинтересно отметить,—что евтаназию, а значит, и самоубийство, по нравственным побуждениям Лемме не согласен признать законной, ибо „страдания—это подготовка к вечности. Не подобает самовольно прекращать жизнь вообще — следовательно, нельзя ускорять ни собственного конца, ни чужого". Здесь мы встречаемся с чисто богословским подходом к вопросу о сокращении жизни, подходом, диаметрально противоположным тем, какие мы видели выше.

К взглядам упомянутых только—что двух богословов близко стоит и проф. Тициус (Геттинген). Принципиальные возражения против Биндинга—говорит Тициус — могут исходить не только из идеи бессмертной, связанной с телом, души, но и из идеи творца, чьи права нарушаются посягательством на человеческую жизнь, которое при всех обстоятельствах недопустимо.

Но и этот довод убедителен только при условии, если мы целиком отождествляем волю природы с волей творца. Интересы же христианства — в противоположность пантеизму — не допускают такого отождествления воли творца с биологической закономерностью природы. Из этого вытекает, что устранение человеческих побегов, которые не имеют шансов на нормальное развитие, вполне мирится с истинным человеколюбием, и с религиозным чувством.

Оригинальна точка зрения другого богослова, Штейнмана. Создание соответствующего закона в данной области привело-бы, по его мнению, к такому же абсурду и безнравственности, как и установление нерасторжимости брака: когда отношения между супругами стали невыносимыми, а потому и безнравственными, развод является единственно нравственным поступком. С другой стороны, будь издан закон о сокращении жизни, это привело бы к резкому огрубению нравов; его результаты едва ли уравновесили бы отрицательное влияние подобного, санкционированного законом, нарушения права на жизнь. Проведение евтаназии в особенно тяжелых случаях

заботами врача—вот и все, что допустимо в данной области.

Известный богослов и педагог Мельцер (Цвикау) писал мне в 1921 г. „... Вопрос о том, что лучше в каждом данном случае—продлить жизнь страдальца или избавить его от мук—надо решать заблаговременно, а не в последнюю минуту. Раз врач убежден, что телесное или духовное развитие больного немыслимо, что он обречен жить себе в тягость, он обязан освободить его от страданий, каких бы усилий это ни стоило. Кто станет порицать Одоардо Галотти или Юранича за то, что они убили дочь и невесту, чтобы охранить их от позора или мучений? „Но если в принципе вопрос решается в положительном смысле, то на практике дело обстоит не так просто. Первое слово, конечно, за врачем, второе за родителями. Но не обойтись, очевидно, и без третьей инстанции, без своего рода присяжных—как в сложных судебных процессах: последние, подвергнув ребенка в течение известного времени наблюдению, вынесят свое постановление, конечно, при условии согласия родителей. Само собой понятно, что на роль таких „присяжных" не годились бы бездетные люди—как мужчины, так и женщины.

Мы таким образом и здесь встречаемся с ссылкой на практические затруднения; привлечение присяжных, или — как рекомендуют другие — родительских комитетов повлекло бы за собой еще большие осложнения, чем предложения Биндинга и Борхардта.

* *

Мы рассмотрели точки зрения ряда крупных авторитетов в области права, медицины и богословия; обратимся теперь к материалам анкетного листа, который я разослал вскоре после появления брошюры Биндинга, с целью выяснить взгляды родителей на этот вопрос. Опросные листы были разосланы (осенью 1920 г.) родителям и опекунам двухсот интернированных в Катариненгофе не поддающихся развитию, слабоумных детей.

3. Анкета.

Появившийся недавно в печати труд одного из виднейших знатоков права, профессора Лейпцигского университета Биндинга и весьма известного профессора медицины Гоша снова выдвинул старый вопрос о том, следует ли из побуждений сострадания, и милосердия сокращать жизнь абсолютно слабоумных детей незаметным для них, совершенно безболезненным способом, так как жизнь не доставляет таким детям никакой радости, временами же их мучат связанные с мозговым заболеванием боли. Вместе с тем они, доживая часто до глубокой старости, вследствие своего болезненного состояния, требуют от своих близких значительных жертв как материальных, так и иных, связанных с уходом за ними.

Даже многие представители богословия находят, что такой акт не только противоречил бы духу христианской религии, но даже напротив, являлся бы высоко нравственным делом, продиктованным истинным желанием добра страдающему ребенку.

Было бы важно выяснить, как относитесь к этому вопросу вы родитель одного из несчастных детей, вверенных нашему попечению. Поэтому мы просим вас дать ответ на прилагаемые ниже вопросы, хотя бы простым „да“ или „нет“; лучше, конечно, если вы приведете подробную мотивировку ваших положительных или отрицательных ответов. Из писем в интернат и посещений таких родителей, которые особенно нежно привязаны к своему больному ребенку, у дирекции интерната постепенно сложилось убеждение, что родители одобрили бы подобное сокращение беспросветного существования своих детей, хотя бы потому, что так—по словам родителей—„для них будет лучше“.

Особенно ценно ваше мнение еще и потому, что только при условии согласия со стороны многих, постигнутых подобным несчастием родителей станет возможным в будущем упорядочить этот вопрос законодательным путем.

Вопросы. Ответы.

1. При всех ли обстоятельствах Вы согласились бы на безболезненное сокращение жизни вашего ребенка, раз экспертизой установлен факт неизлечимости его слабоумия?
2. Дали бы Вы согласие на это лишь в том случае, если бы Вы лишились возможности ухаживать за больным, напр, на случай вашей смерти?
3. Дали бы Вы согласие только при наличии у вашего ребенка сильных физических или душевных страданий?
4. Каково отношение Вашей жены к вопросам 1, 2 и 3?

Примечание: В настоящее время Ваш ребенок физически здоров и бодро настроен. Поставленные Вам вопросы не должны вызвать в Вас беспокойства за него; будьте уверены, что дети у нас и впредь будут пользоваться таким же заботливым уходом, как доселе.

Если даже когда-нибудь впоследствии будет принят закон, разрешающий сокращение жизни таких детей, то оно никогда не будет иметь места без предварительно выраженного согласия родителей.

По поводу этой анкеты считаю нужным указать, что при составлении ее я, действительно, находился под непосредственным, на первых порах подкупающим, влиянием брошюры Биндинга-Гоша; поэтому в анкете и получился тот бросающийся в глаза перевес в сторону положительного решения вопроса, какого я вовсе не имел ввиду. Прибавлю еще что „примечание“ к вопросам было введено лишь в текст последних анкет; оно оказалось нужным потому, что первые экземпляры, как выяснилось, вызвали беспокойство у некоторых родителей. Следует

отметить также, что в пору рассылки анкеты промышленные округа Саксонии сильно страдали от жилищной тесноты и от тяжелого положения с продовольствием. Наконец, и политическая шаткость момента с его все возрастающим обесценением денег могла повлиять на дачу ответов в положительном смысле. Я уверен, что в других государствах германского союза подобная анкета привела бы к совсем иным результатам.

Здесь же следует отметить, что влияние принадлежности опрошенных к различным партиям не показалось мне значительным. Социалисты не более и не менее оказались склонны к положительному решению проблемы, чем члены всех остальных партий—за исключением разве центра. С другой стороны, протестантское по преимуществу население Сексонии не так отозвалось на этот вопрос, как отозвалось бы вероятно, население католическое.

Результаты анкеты получились следующие: из двухсот листов поступили обратно 162, из них 119—т. е. 73% — содержали утвердительные, а 43—27% — отрицательные ответы. Этого я, откровенно говоря, не ожидал: я рассчитывал на обратные отношения.

Что касается „согласных" родителей—будем их так называть,—то они повторяют все те мотивы, какие приведены выше в пользу разрешения умерщвления (особенно мотивы Иоста—„Право на смерть"). „Дети в тягость нам, как и самим себе; когда мы умрем, никто за ними ходить не станет; их будут швырять туда и сюда и они попадут в другое заведение, где им будет житься хуже, чем у вас. Чувство сострадания и человечности указывают на необходимость сократить их жизнь". Другая часть корреспондентов пишет: „Не думайте, что мы бессердечны—напротив, мы очень любим наше дитя; но доводы разума все-же говорят в пользу предложения. И чем дольше затягивать, тем труднее будет решиться, оттого что все больше привязываешься к детям. Для ребенка было бы лучше освободиться как можно скорее от страданий, раз выяснилось, что он слабоумный. Родители

хотели бы найти утешение в том, что для него так лучше. Поэтому они высказывают пожелание, чтобы акт умерщвления был коротким и безболезненным.

Некоторые родители выражают желание лично присутствовать при акте; другие заявляют, что они не хотят брать на себя связанных с этим расходов и просят прислать им удостоверение о смерти, чтобы получить 600 марок пособия по случаю смерти. Один отец пишет: „Ваш запрос пришел очень своевременно: мы только и знаем, что заботы и горе. Чем скорее наш ребенок умрет, тем лучше. Он не знает радости, не знает своих родителей; к сожалению, от этого страдает и община". Другой пишет, что наш запрос сильно взволновал его с женой, но что в интересах ребенка он все же отвечает „да". „Отвечаю искренним „да"; надеюсь, что это случится в возможно скором времени; очень хорошо, что взялись за это дело". „После долгой борьбы мы пришли к такому заключению: ребенку лучше всего будет на небесах".

„Этот вопрос нас давно мучит; хотя мы очень привязаны к ребенку, но в наше время нужны здоровые люди. Человечность и сострадание должны перешагнуть через мелочные колебания. Несмотря на это, нам очень трудно решиться". „Я вдова, сама должна зарабатывать себе пропитание; поэтому девочка мне помеха".

„Дайте ему хорошую, безболезненную смерть; тогда я освобожусь от большой заботы. Но все за ваш счет (!): у меня ничего нет, я вдовец и о ребенке не могу заботиться. Сообщите немедленно, когда все окончится. На похоронах не буду". „Это трудный вопрос, но, как ни тяжело мне, матери—я даю согласие из чувства человеческого сострадания". „Как мать, я чувствую, что это—поступок нравственный и благородный. Моей Лизбете в вашем интернате, конечно, хорошо и я искренно признательна вам за любовь и доброту к ней. Молюсь, чтобы она умерла скорее, чем ее переведут в другой интернат".

„Хотя эта мысль причиняет мне страдания, но все же ребенку так будет лучше; подобное действие не может противоречить духу христианской религии" „Я всегда

находил, что таким детям надо умереть возможно раньше". „На первый вопрос все-таки трудно ответить; может быть, бог приведет к лучшему концу и без моего отв та". „Приветствуем, что бедным людям хотят оказать помощь,— но, живя строго по заветам библии, мы не можем сказать ни „да", ни „нет"; впрочем, мы подчиняемся закону. Душа такого существа, как наш ребенок, уже давно у бога, живет только тело". „После того, как мне пришлось потерять двух здоровых детей, я готова принести и эту жертву. Чего не сделает мать ради своего ребенка! Я не согрешу, если скажу „да". „Мать, двое детей которой находятся у вас, не имеет мужества сказать „да", но я не возражала бы, еслибы это стало законом". „Представить себе не могу более милосердного действия; ведь наш ребенок сам не сознает, что он живет. Я согласился бы во всяком случае, даже если бы он не страдал, так как он никогда не сможет быть полезным обществу".

А вот письмо от матери, которая давно уже желает спасения ребенка от страданий. Для нее было бы облегчением узнать, что он нашел в земле вечный покой. Но, „чтобы иметь возможность когда-нибудь поплакать над его могилой", она просит сообщить ей, когда это произойдет: она напишет „незаконному отцу ребенка насчет постановки памятника"!

Очевидно, многим из „согласных" трудно побороть себя и произнести „да", тогда как другие—таких большинство—бросают свое „да" даже без мотивировки, которая бы осветила их душевное состояние. Многие ответы проникнуты эгоизмом, откровенным или едва прикрытым. Есть и такие, которые шлют своему ребенку привет и благодарят интернат за заботу о нем. Получается впечатление, что в предполагаемом лишении жизни они готовы видеть благодеяние и для ребенка, и для них самих.

Бросается в глаза и своеобразная, уклончивая манера, в которой иные выражают свое согласие:

„Что делать мне, одинокой женщине? Предоставляю решение вам: поступайте так, как вы сочтете лучшим. Правильнее было бы не писать мне, а дать ребенку спо-

койно уснуть". „Как бывшая сиделка, я считаю запрос неудачным, ибо это тревожит родителей. Моя профессия и чувство говорят, что всех (!) неизлечимых пациентов следует безболезненно избавлять от страданий, близким же надо сообщать только о самом факте смерти". „Лучше бы вы нас не беспокоили таким вопросом. На сообщении о внезапной смерти успокоились бы. Давно ребенок уже был бы счастлив, если б приняли меры при первой же стадии". „Мне было бы лучше ничего об этом не знать".

„В принципе согласен, только незачем запрашивать родителей; им все-таки трудно произнести смертный приговор над собственной плотью и кровью. Сообщили бы просто, что такой-то умер от болезни, и всякий принял бы это спокойно".

Здесь, таким образом, не стесняясь предлагают врачу (или комиссии) совершить то тягостное дело, которого им самим не хочется брать на себя. Эти родители готовы освободить себя, да и ребенка, от бремени, но с тем, чтобы сохранить свое душевное спокойствие. А то впоследствии у жены или у мужа появятся угрызения совести, вечно будет мучить вопрос: было ли это необходимо? Разве ребенок в самом деле тяготился жизнью? Ведь, приходя в интернат, мы заставали его в веселом расположении духа! Разве общество не взяло бы его на свое попечение, когда нас не будет?

Можно сказать с уверенностью, что подобные вопросы, которые здесь только намечены, а у „отрицателей" получают еще более яркое выражение, мучили бы многих родителей и в том случае, если бы предложение Биндинга стало законом. Как известно, произвести или утвердить смертный приговор даже над закоренелым преступником нелегко каждому добросовестному судье, присяжному и даже главе государства. Сколько смертных приговоров остались по этой причине не исполненными! Конечно, решающую роль играют здесь не сострадание к приговоренному к казни человеку, который заслужил самую суровую кару и для которого пожизненная каторга была бы еще более страшным наказанием: под-

писать приговор трудно потому, что в нас издавна вложено отвращение к лишению жизни. Богослов называет это страхом перед вмешательством в верховные права божества, а для социолога ясно, что в основе здесь лежит страх перед нарушением древнего как мир нравственного закона: „не убий!“ Только этим и об'ясняется периодически появляющиеся в разных странах проекты отмены смертной казни

Не опасно ли, в таком случае, конструировать новые нормы убийства в отношении таких существ, которые не сделали ничего преступного и довольны своей жизнью, как бы ни были узки ее рамки? Вдобавок, в этих случаях смертный приговор должны будут утверждать родители, т.-е. те, кто частью сами повинны в несчастии своих детей (алкоголики и сифилитики), частью же передали своим детям пороки, дефекты и слабости своих предков?

Не могу не привести здесь еще двух ответов, которые в свое время заставили меня поколебаться и чуть ли не присоединиться все-таки к идеям Биндинга. Ответы эти показывают, как серьезны соображения, побуждающие даже нежно любящих родителей побороть себя и сознательно сказать свое „да“ Первый из них дан среднего достатка промышленным служащим, отцом слабоумных близнецов и трех здоровых девочек. Судя по письмам к больным мальчикам, семья во всех отношениях безупречная. Причину недуга приходится искать, видимо, в отдаленных предках или в каких-нибудь вредных воздействиях в период беременности матери. Во всяком случае, винить родителей в данном случае нет никаких оснований.

Автор второго ответа—чернорабочий, человек высокого интеллектуального и морального уровня. Вот эти письма.

Письмо I. „С большим интересом прочитал вашу анкету, тем более, что с давних пор являюсь сторонником изложенных вами в первых двух частях вашего письма взглядов. Среди обывателей этот старый вопрос затрагивается, несомненно, чаще, чем обычно думают; по крайней мере, мне часто приходилось выслушивать суждения на

эту тему. Правда, говорилось не только о слабоумных детях, но и о слабоумных взрослых и вообще о психически больных.

Я могу удостоверить, что почти всегда преобладает такое мнение: безболезненное прекращение жизни должно рассматриваться, как акт милосердия в отношении больного и невозможность осуществления такого акта есть пробел в законодательстве. Все, кто серьезно вдумывался в вопрос, требуют гарантий против злоупотреблений — например, чтобы акт выполнялся только на основании постановления, по крайней мере, трех врачей-экспертов, приведенных, вдобавок, к присяге, и при условии согласия родителей или заменяющих их лиц.

Мнение мое не изменилось и тогда, когда я сам оказался вынужденным отдать в интернат двух мальчиков, и таким образом стал лицом заинтересованным; впрочем, я надеюсь что оба мои мальчика не будут принадлежать к числу совсем слабоумных, если не наступит ухудшения. Открыто заявляю: когда $2^1/_2$ года тому назад от паралича сердца, после трехдневного дифтерита, умерла наша талантливая 12-летняя Луиза и одновременно захворали оба мальчика,—мы с женой желали для них обоих такой же безболезненной кончины, к их же добру, хотя и прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить им жизнь".

Письмо 2. „Ваша анкета воскресила во мне с женой мысли и желания, от которых мы давно отказались, как от невыполнимых. Акт, скоро и безболезненно освобождающий неизлечимо больного от недуга — безразлично, ощущает ли он свой недуг или нет, — на наш взгляд, всегда и при всяких условиях имеет свое оправдание.

В благодеянии, которое мы не задумываясь оказываем страдающему животному, нельзя отказывать человеку, как более совершенной форме развития. Конечно, многие будут громко негодовать против такого варварства и бессердечия, но это негодование — гуманность, лишенная искренности. Посторонний человек вообще не может судить об этом: только личный опыт, собственное горе и переживание жалкой участи ребенка дают возможность рассудить

беспристрастно. Я уверен, что созданные длительной войной условия жизни будут повелительно требовать легализации подобной меры".

Из числа сорока трех несогласных, отвергнувших первый пункт моей анкеты, 10 дали утвердительный ответ на второй пункт (о согласии в случае утраты возможности ухаживать за ребенком), а 14 утвердительно ответили и на третий вопрос (о согласии только в случае сильных физических или душевных страданий ребенка).

В 20 случаях на все четыре вопроса последовали отрицательный ответ; впрочем, 8 из них относятся к таким семьям, где отца не было в живых или он жил отдельно от матери. Вообще, кстати сказать, жены в огромном большинстве случаев присоединялись к мнению мужа.

Какие же мотивы побуждали мать—или, в иных случаях, отца—дать отрицательные ответы даже на второй и третий вопросы? Мы приведем только более характерные ответы.

1 случай. Одинокая женщина (муж погиб на войне) пишет, что, как мать, она не может дать согласия даже не безболезненное прекращение жизни своего ребенка. „Я еще здорова, а что будет после моей смерти, я не знаю. Если ребенка терзают телесные и душевные страдания, то приходится надеяться, что смерть сама придет к нему".

2 случай. Старая чета пишет о своей внучке, круглой сироте: „Мы уже давно видим, что девочка не может выздороветь и что для нее будет лучше всего, если бог ее возьмет к себе. Но сами мы этого на нашу совесть не возьмем".

3 случай. (Отца нет в живых). „Я ни за что не допущу, чтобы что-нибудь сделали с жизнью моего сына. По моему, у него такое же право на жизнь, как и у всех других людей, и меня бы всю жизнь мучила совесть".

4 случай. Мать (отец умер) просит извинить ее за то, что она отвечает „нет". „Я не могу иначе. Ведь я носила моего несчастного ребенка под сердцем; даже самое предложение ваше причиняет мне боль. Я очень порадовалась вашему сообщению о том, что мой Ганс здоров

и весел. Я считала бы это самым тяжким с своей стороны преступлением".

5 случай. „Мой муж погиб на войне, поэтому я еще больше привязана к ребенку, так что я не могла бы оправдаться перед богом".

7 случай. Как мать, я не могу дать согласия: совесть не давала бы мне покоя. Муж пал на войне. Радуюсь, что мой сын здоров и весел, и утешаюсь тем, что вы будете и впредь за ним ухаживать; если естественная смерть принесет ему избавление, то я на этом успокоюсь. А на такие дела я не согласна".

8 случай. „Ваше письмо меня очень удивило. Я ни в коем случае не соглашусь, так как не хочу брать на свою совесть смерть моего ребенка. И ваша анкета не будет иметь успеха у других родителей таких детей: не может быть, чтобы на свете были такие бессердечные и безнравственные люди".

9 случай. „ 1-ый вопрос: Нет. Потому что смертную казнь хотят отменить даже за тяжкие преступления, а тут думают ее ввести для бедных, несчастных детей. 2-ой вопрос. Нет, и в этом случае—нет. Если я когда-нибудь умру и не оставлю средств, то неужели государство не позаботится о моем несчастном ребенке? Ведь я тоже жертвовал жизнью за отечество в мировой войне. 3-ий вопрос: нет. Если когда нибудь появится закон и будут убиты все—богатый и бедный, дети и взрослые—кто одержим недугами и не может приносить обществу пользу, то я еще не знаю, как к этому отнесся бы. 4-ый вопрос: Моя жена никогда в жизни не согласится на это; ваша анкета совсем ее расстроила".

10 случай. Отец ребенка, страдающего огромной водянкой головного мозга, пишет, что на вопросы 1—3 он не находит ответа, что ребенок его вовсе не слабоумен, а наоборот, отличается большою духовной живостью. Через неделю он его возьмет к себе домой и будет сам принимать меры, если состояние ребенка ухудшилось. „Мир так шагнул вперед, что все возможно; не знаешь только, все ли это—наука".

Жена его с месяц спустя, действительно, взяла ребенка из интерната; это был единственный случай с подобным исходом анкеты.

18 случай, Вдова. „Вспомните, как говорит христианская церковь: „Бог дал—бог и взял". Если будет издан закон, придется подчиниться, но добровольно я никогда не дам согласия".

21 случай. „Сначала мы должны ознакомиться со средствами, и узнать какое влияние они имеют на тело и психику. После моей смерти мы желали бы, чтобы дитя упокоилось, оттого что братья и сестры, может быть, не станут им заниматься. Согласился бы и по третьему вопросу, если бы врач установил, что ребенок очень страдает".

35 случай. „Хотя я знаю, что мой слабоумный ребенок неизлечим, я все же не могу дать согласия, потому что он очень близок моему сердцу. Я ни на час не могла бы упокоиться. Если люди высокой науки считают христианским долгом избавить несчастное дитя от его жалкого существования, то зачем им надо еще мучить сердце матери? Если бы пришла неожиданная весть о кончине ребенка, я примирилась бы, считая, что там ему еще лучше, чем у вас".

37 случай. „Мы оба благодарили бы бога, если бы он взял к себе наше дитя, но религиозные взгляды не позволят нам упреждать действия провидения, чтобы не навлечь кары на нашего другого, нормального ребенка".

И здесь, среди отрицательных ответов, кое-где проскальзывают явные черты эгоизма—например, в том случае, где согласие не дается, видимо, только из-за пособия, выдаваемого на содержание ребенка. Но в общем, во второй группе ответов гораздо больше душевной тревоги, чем в первой.

Когда я приступал к своей анкете, я ожидал, что большинство ответит отрицательно на основной вопрос и я таким образом получил бы лишний аргумент против проекта Биндинга. Если бы—говорил я себе—этот проект даже и был одобрен, он все равно остался бы на бумаге,

так как родители относились бы к нему, несомненно, отрицательно. Получилось, как мы видели, обратное: большинство родителей дало утвердительные ответы. Но ведь известно, что „статистика—это наука, с помощью которой можно доказать все то, что желательно доказать".

Во всяком случае, проблема столь исключительной сложности не решается статистическими методами. Тем более, что мы имеем мнение лишь небольшой группы людей, которые пережили 1916—1922 годы в особо тяжелых условиях. И не случайность, конечно, что вместе с улучшением этих условий и вся проблема потеряла значительную часть своей остроты и что родители наших питомцев, с своей стороны, тоже почти перестали касаться этого вопроса.

Но кроме того, меня лично приведенная статистика убедила в том, что голоса следует не считать, а взвешивать. Для меня удельный вес 43, сказавших „нет", значительно больше веса 119, выразивших свое согласие. Это и заставило меня снова задуматься над проблемой и собрать все, что было сказано о ней за и против.

Мой вывод в этой, второй части моей работы таков: прекращение неполноценной жизни, поскольку вопрос идет об идиотах или даже психически больных, должно быть отвергнуто и по этическим, и по практическим соображениям.

4. Культурно-исторические данные.

В дальнейшем, как и до сих пор, я не пытаюсь исчерпать весь материал, что слишком расширило бы рамки моей работы. Я изложу только основные аргументы за и против и дам читателю возможность самому сделать собственный вывод.

Другие стадии культуры, когда право не так решительно стояло на страже свободы личности, в отношении „права на жизнь" занимали, естественно, позицию, противоположную той, какая присуща нашему времени. Здесь кстати будет привести малоизвестное, хотя и часто упоминаемое место из „Жизнеописания Ликурга"— Плутарха, где говорится о приемах древних спартанцев: „Господином над воспитанием детей был не отец: он приносил ребенка в зал заседания старейшин, и если они находили ребенка сильным и хорошо сложенным, то приказывали заняться его воспитанием, если же у него был вид жалкий и хилый, то его отправляли в Апотеты, ущелье Тайгета, как существо, жизнь которого не может принести пользы ни ему самому, ни государству".

К подобному приему истребления нельзя отнестись иначе, как с самым резким осуждением. Было бы еще понятно, если бы речь шла о настоящих уродах, но такие дети вообще не живут долго; большинство детей-идиотов умирает в раннем возрасте. Во всяком случае, такие меры не спасли Спарту от гибели. Несомненно, следствием этой меры была совершенно безполезная гибель множества детей, которые впоследствии могли бы оказаться весьма полезными членами государства (Мельцер— „Культура и слабоумие").

Впрочем, древние германцы, повидимому, поступали таким же образом. Страбон описывает подобные случаи из жизни троглодитов и массагетов. Древние обитатели Пруссии убивали слепых и горбатых детей. Но они считались не только с внешним видом: ребенка убивали и в том случае, если ребенок рождался в несчастливый день, или если „посвященные" предсказывали ему несчастную судьбу. Все это очень напоминает сообщения Вайца и Клемма о полудиких народах нового (Платц) и новейшего времени. Там мы часто сталкиваемся с детоубийством, особенно среди диких племен Австралии, и чем они ниже по своему уровню, тем чаще наблюдаются такие факты. Истребляют всех детей, причинивших матери большие страдания при родах, всех калек; с другой стороны, во многих южных странах альбиносы, кривые, косоватые пользуются, напротив, особым уходом и большим почетом. Убивают и второго из двух детей, родившихся один вскоре после другого—чтобы он не отнимал пищу у старшего. На некоторых островах Полинезии особенно часто убивают девочек, как бесполезных в будущем для военного дела. На Таити убивают две трети всех детей, в первую очередь старших и родившихся двойней, но рядом с этим процветает культ детских душ: желая иметь заступников перед божествами, к ним и направляют души детей. Очень часто встречаются аборты с целью сохранения внешней красоты женщин. У обитателей островов Фиджи детей обычно убивает сама мать, но есть и люди, профессионально занимающиеся этим делом. Поводом к детоубийству часто служит просто стремление матери к собственным удобствам.

Во многих местах нередки случаи убийства стариков: их хоронят заживо или душат на смерть; последний прием везде признается менее мучительным. Убийство совершается с той целью, чтобы старик не впал в жалкое состояние второго детства. Говорят, что в большинстве случаев старики даже сами требуют, чтобы их убили, боясь в будущем нищеты и дурного обращения. В этих случаях дружеский долг избавления от жизни лежит

на ближайших родственниках, причем празднуют тризны, на которых царит необычайное обжорство. Китайцы оставляют на произвол судьбы чудовищное множество детей, тогда как потоватонги (индейское племя), напротив, очень нежно ухаживают за неспособными к труду и слабоумными детьми. Нарушение этого обычая считается позором и встречается очень редко.

Меланезийцы убивают всех достигших сорокалетнего возраста; напротив, эскимосы при распределении охотничьей добычи отдают предпочтение вдовам и болезненным мужчинам, причем последним даже не приходится просить: обычай дает им право на долю во всех запасах пищи. Равным образом известны некоторые негритянские племена, где детей-калек окружают самыми нежными заботами.

Не будем, однако, углубляться в дебри этнографии. Уже некоторые из приведенных фактов таковы, что, если мысленно сравнить их с иными из современных течений, трудно удержаться от саркастической улыбки. Ведь и в наше время эгоизм и соображения удобства играют видную роль в освещении многих „реформ", как бы почтенны ни были мотивы того или другого реформатора. Любопытно, между прочим, что ничего подобного мы не находим в истории афинян и других народов классической древности, стоявших на высоком уровне культуры. Вероятно, в „Жизнеописании Ликурга", Плутарх потому и подчеркнул спартанский „прием", что прием этот был чем-то исключительным для древней Греции.

Возможно, что в других странах древности господствовала не та точка зрения, какую мы встречаем у Платона в его „Республике"; он восхваляет Эскулапа и его сыновей за то, что они занимались лечением только крепких людей, применяя сильно действующие средства, и, в то же время избегали поддерживать жизнь людей хилых и слабых. Я уже указывал что, с моей точки зрения, преступно давать поддерживающие жизнь средства идиоту, жизнь которого явно близится к концу; так же смотрит и Штрассман В подобном случае и в наши

дни мог бы сойти за невежду любой ученик Эскулапа, если вместо облегчающих страдания средств он стал бы давать укрепляющие там, где по всей очевидности и по опыту современной медицины смерть неминуема.

Христианскую этику напоминают нам запреты Пифагора „снимать с кого-либо бремя"; напротив, он даже советует налагать бремя на людей. Ибо не следует навлекать на себя ужас в уменьшении человеческих тягот: труд и страдания целительны и предписаны божеством, наслаждения же и заботы несут гибель.

Эту мудрость веков не устают преподносить людям, хотя она и не производит на них большого впечатления.

Недавно я столкнулся в отличном, хотя и явно тенденциозном романе Тони Роммунд „Святая жестокость" с следующим замечанием: „Роскошь убивает своих детей, и поколения, которые ей предаются, обречены на смерть". Правда, автор этого романа, посвященного проблеме истребления стоящих на низкой ступени развития людей, приходит к иному выводу, чем я. В романе врач, по убеждению отравляющий детей-идиотов в миссионерском интернате, принимает мученический конец от пришедшей в ярость толпы. Повидимому автор желал бы победы проповедуемой врачем идее. На это указывает и эпиграф, взятый из „Радостной науки" Ницше, где святой приказывает человеку, принесшему к нему новорожденного ребенка-урода: „Убей его".

Мне кажется, что старый Пифагор все-таки ближе подходит к истине, рекомендуя нам, не гнушаться тяготами, если мы не можем их облегчить не отягчая своей совести. „Роскошь убивает своих детей". В самом деле: разве мы не наблюдаем на каждом шагу, как люди, быстро и без труда обогатившиеся, уже не могут предохранить своих детей от гибельного влияния роскоши и предоставить им величайшее блага человека—радость в труде?. Оправдывается старая поговорка: первое поколение приобретает, второе сохраняет, третье растрачивает!

Лучшая мера борьбы с гибельным, истребляющим целые поколения явлением, которое роковым бременем

ложится ни потомство даровитых людей — это повысить поимущественные и подоходные налоги. Если в романе Ротмунд духовный руководитель интерната говорит: „бог наказал их род, истребив его,—но он же и указал путь к возмездию“; если у той же Ротмунд читаем: „Богатство Рудольфа Брейтвизера, заработанное не всегда честным путем, должно обратиться в благодать, должно нести помощь бесчисленным товарищам по несчастью его бедного ребенка“,—то ведь и я пришел выше к подобному же выводу.

Нет надобности добавлять, что было бы нелепой односторонностью заботиться об одних только обездоленных, только о выродках и слабоумных. Ни один народ из-за них не станет забывать о нормальных и одаренных детях. Это было бы равносильно самоуничтожению, это понятно и простительно, это может быть даже нравственным долгом со стороны отдельного лица, но совершенно недопустимо со стороны государства.

Современное культурное государство не может быть однобоким, помогая нормальным и одаренным и отказываясь в то же время от попечения о неудачных членах общества. В Германии и некоторых других культурных странах Европы, повидимому, взят правильный курс: из забот о неудачниках надо извлекать идеальную пользу и для здоровых.

Выше мы привели несколько сравнительных данных об отношении к нашей проблеме в древности и у культурных народов нашей эпохи; приведем теперь несколько фактов и из мира животных. Так, Флюгель в своей книге „Я“ и „нравственные идеи“ (1899) упоминает о том, что и животные проявляют иногда доброжелательность, даже к животным не своей породы; известна, например, история о сострадательном ястребе (рассказ лесника по Дарвину). Среди грызунов наблюдаются случаи кормления слепых и беспомощных. Проявление милосердия наблюдается и у обезьян. У муравьев и пчел отдельные члены коллектива, как известно, жертвуют собой для общего блага. Много таких примеров мы находим у Кропоткина

(„Взаимопомощь в животном и человеческом мире“). Этот натуралист на основании многочисленных и тонких наблюдений во время своих путешествий по Северной Азии доказал, что дарвиновская борьба за существование вовсе не играет такой всеоб'емлющей роли в развитии рода, какая ей приписывается эпигонами дарвинизма, и что взаимопомощь как между животными, так и между людьми является также существенным фактором.

В настоящее время твердо установлено, что чем больше животные одной породы борются между собой, тем скорее они исчезают с лица земли, именно в силу взаимоистребления, а чем больше они об'единяются в целях обоюдной поддержки, тем бо́льших достигают результатов в согласованных действиях, тем больше могут себя обезопасить от естественных катастроф.

Война и борьба, как правильно замечает Кропоткин, несут с собой только уничтожение; лучшим доказательством этому — прибавим мы от себя — служат те 12 миллионов здоровых и цветущих молодых людей, которые пали на войне жертвой алчности международных хищников. Если войны среди людей и животных не все еще уничтожили, то только благодаря постоянной обоюдной поддержке между людьми и даже в мире животных.

Остановимся еще на взглядах немецкого национал-экономиста Гелленбаха. Не будучи—как и Фр. А. Ланге, известный автор „Истории материализма“, с которым он во многом сходится — представителем материализма, Гелленбах все-же придает огромное значение задачам евгеники. Он готов голосовать за стерилизацию малоценных в духовном отношении суб'ектов; в тех же евгенических целях он требует коренного улучшения воспитания детей, а это, в свою очередь, недостижимо без увеличения продукции и надлежащей организации труда.

Попечение о беспомощных детях стоит здесь на первом плане. „Мы пользуемся плодами физического и духовного труда, неисчислимых страданий и героической самоотверженности прошлых поколений, и потому никто из

нас не вправе уклоняться от обязанности жертвовать собой на благо потомков".

Социальные страдания—продолжает Голленбах—нельзя рассматривать как естественную, непреложную необходимость, и потому борьба с ним возможна. Бумке в своей книге—„Культура и вырождение" учит, что все явные признаки вырождения обусловливаются социальными факторами, внешней средой,—а значит, их можно победить и устранить. Случи вырождения все учащаются—с ужасом констатируют иные. Но приходить в ужас нет никаких оснований: эта боязнь вырождения только симптом тех настроений уныния и упадка, какие присущи нашей эпохе.

С Голленбахом соглашается и Дюбуа, по мнению которого процессы регенерации (возрождения) даже преобладают над процессами дегенерации (вырождения),—иначе человечество уже давно находилось бы в последней стадии идиотизма или самоуничтожения, потеряв способность размножаться.

Проф. Ян (Иена) в статье „Назад к Канту" вспоминает, между прочим, такой эпизод. Погруженного в размышления философа прервали крики попугая: „голод, голод". Это вернуло Канта к действительности: попугай напомнил ему о долге. Рассказывают, будто этот эпизод послужил толчком к возникновению „Критики практического разума". Разве нельзя и нам последовать этому примеру? Идиоты с их вечным голодом—симптомом их стремления к сохранению жизни и ее радостей—должны были бы вернуть нас к самоотверженному исполнению нашего долга по отношению к ним. Величайшая ответственность личности перед моральным порядком вещей, вера в мудрую и благодетельную силу, поддерживающую мироздание—все элементы идеальной мудрости мира несовместимы с лишением жизни ни в чем неповинных неудачников. Эта философия неизмеримо выше учения Ницше о сверхчеловеке; крайний эгоизм ницшеанства, при всей грандиозности его замыслов, никогда не приобретет прак-

тического значения, уже потому, что основанная на нем культура была бы неминуемо обречена на гибель.

Таким образом, ни абсолютный эгоизм, ни абсолютный альтруизм (нашедший себе выражение в первоначальном христианстве) не годятся, как основной принцип при решении нашей проблемы; прислушаемся теперь к голосам, одинаково чуждым и той, и другой крайности. Так, Фихте справедливо указывает, что государство обязано стоять на страже не только права и целесообразности, но и добрых чувств; только в них—одухотворяющее начало всякой общественности. А Гербарт учит: насаждать добрые чувства—такой же долг государства, как и утверждать справедливость.

Возвращаясь, в частности, к судьбе слабоумных, можно сказать, что жизнерадостность, которая, как мы уже указывали, свойственна громадному большинству их—она-то, может быть, и вознаграждает идиота за утрату разума.

В этом отношении заслуживает внимания мысль Руссо о том, что „Всякий человек приносит пользу человечеству, хотя бы одним фактом своего существования", или мысль Карлейля; „Твоя жизнь, будь ты хотя бы самым жалким в мире существом—не бред, а великий и ценный факт", или Гете: „Жизнь, будь она даже одним только мгновеньем — высокий долг". Даже жизнь идиотов, этих „часто совершенно неудачных образцов человеческого развития", есть „непостижимое чудо" (проф. Штиккер"). В моей брошюре „Катериненгоф" я, между прочим писал: „Различные виды уродства и вырождения ведут нас—правда, тяжелым путем долгих исканий—к культурным способам борьбы с этим бедствием. Зачем же становиться на путь, противный культуре, который легко может нас привести к социальному регрессу?"

Фр. Паульсен в своей „Системе этики" тонко показал, как христианство, в противовес греческому евдемонизму с его учением о самосохранении, провозгласило идею самоотречения, как оно заменило утверждение мира у греков преодолением его. Несмотря на все ухищре-

ния богословов, бесспорным остается следующее положение: „народы живы тем, что лучшие и самоотверженнейшие из них, самые сильные и чистые жертвуют собой. Все высшие блага, которыми обладает человечество, приобретены усилиями именно таких людей, наградой же им служит непризнание, презрение, ссылка. Поистине, история человечества есть история мученичества".

Мы видели, как великий минорный аккорд „вина—страдания—жертва" проходит через всю жизнь народов. С тем же аккордом мы встречаемся и в психической жизни отдельной личности, ибо, в силу известного закона биогенеза развитие расы повторяется и отражается в развитии отдельной личности, как в физической, так и в психической области.

Дитрих ф. Эртцен справедливо указывает, что следовать принципам нравственности выгоднее не только в политическом смысле, но и с точки зрения социальной гигиены. В области расовой биологии мы уже можем проследить влияние алкоголя на хромозомы половых клеток; наши наблюдения в большинстве случаев идут, правда, не дальше двух поколений, но очень вероятно, что древнее сказание о возмездии в третьем и четвертом поколении—не голая книжная мудрость, а плод тысячелетнего человеческого опыта. Сказанное об алкоголе относится в равной мере и к сифилису, а может быть, и рахиту, который в свою очередь, связан с жилищной нуждой масс и с неудовлетворительным воспитанием детей.

Идиотизм и вообще болезненные явления на теле человечества—вот то зло, которое возникло на почве пороков и всяческого несовершенства современного человечества; в еще большей степени они—последствия прямой или косвенной вины предков (наследственные влияния, которые, в конечном счете, тоже обусловливаются факторами внешней среды). Наши больные искупают чужую вину не в тюрьмах или на виселицах, они влачат жалкое существование в тесных стенах интернатов, лишенные свободы, которой они отчасти даже сознательно—жаждут, и огра-

ниченные в своих потребностях, которые, еслибы им дать волю, были бы опасны для общества.

„Ложь всегда удобнее истины“ — сказал Гете канцлеру ф. Мюллеру. Конечно, было бы удобнее попросту, по рецепту Биндинга, устранить эти „отвратительные существа“, как выражаются многие. Но эти живые призраки не успокаиваются и под гробовой доской. Они возродятся в другой форме, если мы не станем на длинный и трудный путь социальной борьбы против причин этих уродливых явлений.

Упомянутый выше минорный аккорд: „вина — страдания — жертва“, проходящий через все религии и поэтическое творчество, не является заключительным аккордом. Как в вагнеровской „Гибели богов“, минорный мотив смерти Зигфрида сменяется мажорным аккордом появления луны из-за туч. Оба аккорда, постоянно чередуясь, звучат во всех великих творениях поэтов.

Нашу проблему можно разрешить не насилием, а одним лишь трудом. Общество обязано окружить самым заботливых вниманием этих несчастных, эти жертвы его собственной вины — и пусть оно благодарит судьбу, если находятся люди, посвящающие свое личное „я“ служению такой идее любви. Без таких людей, как Фр. ф. Бодельшвинг (уже упоминавшийся выше) или Р. Д. Зенгельман, учредитель большого интерната в Альтердорфе под Гамбургом, или французский врач Сегэн — мы и сейчас не могли бы осветить глубины этих недугов светом науки, не могли бы установить те социальные факторы, которые их вызывают. Но помимо организаторов, благотворная деятельность которых приобретает широкую известность, на том же поприще самоотверженно работают, обслуживая самих больных, тысячи незаметных тружеников — сестер, сиделок и врачей. Не легка эта работа: порой она даже тягостнее, чем уход за душевно-больным. Но она не менее полезна обществу, чем всякая другая работа. Награду же она таит только в себе самой.

Тот, кто готов отправить на тот свет „лишний балласт“ — жизнь слабоумных, а затем и душевнобольных,

калек, престарелых и пр. (ф. Торальд), конечно, скажет, что моя точка зрения — проявление сентиментальности и косности; он даже приведет мнения философов и поэтов, которые можно истолковать в сочувственном к проектам Биндинга смысле. Такому человеку я возразил бы следующее:, там где нет искупления вины и состояния необходимой обороны, где очевидно полное отсутствие преступления и где, наконец, отсутствует жажда смерти— там нельзя с легким сердцем нарушать древний принцип святости жизни.

Во время войны нас без всякого основания называли „гуннами", но теперь мы действительно заслужили бы эту кличку, если бы приняли предложения Биндинга об уничтожении „пустой шелухи" человечества.

В итоге я резюмирую свою точку зрения:

Лишение жизни идиотов и душевнобольных, как бы низок ни был их духовный уровень, недопустимо как по правовым, так и по этическим соображениям. Их уничтожение едва ли принесло бы обществу ощутительную материальную пользу; во всяком случае, последняя целиком уравновешивалась бы затратами по выполнению этого проекта. Необходимость в домах призрения и лечебных заведениях и тогда оставалась бы неустраненной. Весьма сомнительно, взяли ли бы на себя врачи или другие лица самое выполнение акта.

Принципам морали осуществление проекта нанесло бы ни с чем несравнимый ущерб. Всякий хронический больной подвергался бы риску быть признанным излишним и подлежащим уничтожению. Доверчивое отношение к больницам, лечебницам и попечительствам, к домам призрения и богодельням, достигнутое за последние сто лет, благодаря успехам науки, сменилось бы глубоким недоверием, чрезвычайно вредным для задач здравоохранения.

II. Что такое евгеника.

„Sind wir Sclaven der Vergangenheit oder Werkmeister der Zukunft?“
(Кто мы: рабы прошлого — или строители будущего?)
Каммер.

Предлагаемая вниманию русского читателя, только-что вышедшая в Берлине, новая работа известного немецкого психиатра-педагога Эд. Мельцера носит в оригинале заглавие „Сокращение жизни неполноценных элементов“ („Die Verkürzunq des Lebensunwerten Lebens“). Она любопытна, прежде всего, как показатель той тревоги, того душевного упадка, какой присущ сейчас *) буржуазной мысли в большинстве стран послевоенной Европы, особенно же разорённой, униженной, дауэсизируемой Германии; стране творческого под'ема и бодрого, напряженного строительства, каков СССР, такие настроения, конечно, чужды.

Но если советский читатель не разделит настроений автора—как и ряда отдельных его положений, явно узких и по обывательски наивных—то он не может не отнестись с живым интересом к той евгенической идее, которая лежит в основе труда Мельцера и цитируемых им многочисленных авторов. Как бы мы ни смотрели на самую идею сокращения жизни ни в чем неповинных людей, мы не можем к ней отнестись безразлично, ибо она—звено в ряду проектов разрешения важнейшей проблемы нашего времени, именно—проблемы поднятия уровня человеческой породы.

---

*) В самые последние дни в Мюнхене вышел, между прочим, еще один труд, близкий по теме к книге Мельцера: это „Was kosten die minderwertigen dem,Staat und der Jesellschaft“, Каупа.

„Право на убийство"—это не плод увлечения отдельного фанатика, не измышление ученого педанта: это право дискутируется целым рядом виднейших психиатров и юристов разных стран, о нем пишут романы (в Германии, в Швеции), оно является очередным вопросом законодательства и, наконец, такое сокращение жизни, не будучи пока нигде нормировано в законе, практикуется тем не менее,—конечно, в сокрытых формах—довольно широко. Все эти соображеняя вполне оправдывают, на наш взгляд, появление книги Мельцера на русском языке.

Разумеется, она нуждается в поправках, порой весьма существенных; но раньше чем обратиться к этим последним, мы наметим, хотя бы только в основных чертах, сущность, пределы и методы евгеники вообще, а затем укажем то, что у Мельцера для нас неприемлемо — поскольку такие поправки не станут уже излишними в свете предваригельных общих данных по евгенике.

Под евгеникой, как показывает и самое происхождение слова, *) разумеют науку о повышении уровня человеческой породы путем устранения худших, неполноценных элементов и размножения элементов ценных и желательных.

В мире животных и растений на этом пути под'ема породы уже достигнуто очень многое: любая выставка животных или растений свидетельствует о высоком мастерстве в получении новых видов, наделенных теми или иными, желательными для нас, свойствами и особенностями. Но, овладев искусственным подбором среди цветов и фруктов, собак и лошадей—многого ли достиг человек в отношении себя самого, „венца творения"?

Бессознательные, далеко не всегда зачаточные евгенические меры применялись еще в глубокой древности, но как наука, как определенная дисциплина со своими соб-

*) Греч. „eu"—хорошо и „genos„—род.

ственными методами и солидным фактическим фундаментом, евгеника очень молода: она едва насчитывает два десятка лет. Действительное начало евгенике, как науке, положил Фр. Гальтон; он же в 1894 г. впервые употребил термин „евгеники" как науки о благом, хорошем рождении; в противоположность браку евгеническому — какогеническим *) браком именуется такой, который угрожает понизить биологический уровень породы, дать больное, порочное, вообще дефектное потомство.

Юную евгенику некоторые авторы еще и теперь не считают возможным признавать наукой; ее задачи — указывают критики — строятся не на научных основах, а на эмоциональных суждениях о том, какой тип человека является наилучшим, к чему следует стремиться. Действительно, понятия о лучшем и худшем типе человека — понятия относительные, как и понятия о здоровьи и болезни, и евгеника в целом носит нормативный характер — но ведь и история тоже нормативна, она тоже оперирует относительными оценками, и, тем не менее, ей не отказывают в звании науки.

Несмотря на свою крайнюю молодость, евгеника с помощью двух своих методов—статистического и генеалогического (подробное обследование отдельных родов в ряде поколений)—уже теперь имеет вполне установленные научные положения, которые уполномочивают к определенным практическим выводам. Тем не менее, трудностей на ее пути еще много, и для ближайшего периода на очереди стоят не столько практические мероприятия, законодательные нормы, сколько настойчивая и планомерная пропаганда евгенических идей.

Еще Дарвин писал: „Человек с величайшей заботливостью изучает свойства и родословную своих лошадей, рогатого скота и собак, прежде чем соединить их в пары, но когда дело касается его собственного брака, он редко или даже никогда не высказывает подобной осмотрительности; он руководится приблизительно такими же по-

*) Греч. „kakos" — дурной и „denos" (род).

буждениями, как и низшее животные, оставленные на собственный произвол".

Разумеется, в отношении людей задачи евгеники представляют особые, исключительные трудности. Прежде всего, здесь, очевидно, не применим эксперимент, столь широко применяемый и столь плодотворный в мире животных и растений: скрещивание, случивание человеческих пар было бы недопустимой жестокостью, да и просто невыполнимым делом. Таким образом, прямой опыт исключается и приходится довольствоваться наблюдением. Применяют, как мы уже упоминали, либо метод статистики, т. е. на большом человеческом материале исследуют те или другие влияния производителей на свойства потомства, либо гораздо более строгий, но и очень кропотливый метод изучения родословной отдельных семей и родов.

Другой источник трудности задачи — чрезвычайная сложность перекрещивающихся влияний, действующих на человека в обществе: в этом клубке не легко отличить причины от следствий и воздействия внешней обстановки, социальной среды отделить от врожденных, чисто наследственных (биологических) особенностей и свойств. Наконец, спорным является и конечное стремление евгеники: какими именно свой ствами хочет она наделить человечество, каким должен быть будущий человек, идеальный „homo sapiens"?

В мире животных задача ясна: требуется улучшить то или иное свойство животного—напр., рабочие свойства лошади, ее бег, ее выносливость, или молочность коровы, или носкость кур, жир у свиньи и пр. Путем искусственного подбора производителей легко удается удалить нежелательные свойства, усилить и закрепить в потомстве желательные, ценные особенности. Конечно, при этом какие-нибудь одни свойства чрезмерно развиваются за счет других; по отношению к человеку такое сознательное уродование, такое пренебрежение к гармоническому, равномерному развитию, очевидно, недопустимо.

Если, несмотря на все эти трудности, евгеника все же быстро идет вперед и из кабинетов и лабораторий уже выходит в жизнь и влияет на практику, то это, прежде всего, благодаря огромным успехам учения о наследственности: это учение — основной фундамент новой науки. Правда, главнейшие законы наследственности открыты лишь сравнительно недавно — положившая им начало скромная работа монаха-бенедиктинца Менделя, появившаяся в 1865 г., в свое время прошла незамеченной и по настоящему была вновь „открыта" наукой лишь почти 30 лет спустя. Но в настоящее время законы эти, подтвержденные многократными проверками, стоят незыблемо и уже во многих случаях дают евгенисту опору для чисто-практических советов и предсказаний.

Мы не можем в этом кратком очерке останавливаться подробно на учении о наследственности, но коснуться его основ нам здесь необходимо.

По современным взглядам, единственными носителями наследственных свойств являются половые клетки (гаметы—половые клетки, содержащие эти свойства); те или другие „гены" (наследственные факторы) заключаются, повидимому, в хроматине ядра половых клеток.

Если вспомнить, что половые клетки мужчины и женщины имеют чрезвычайно микроскопические размеры (поперечник человеческого яйца не превышает $^1/_6$ миллим., а головка семенного тельца даже 0.01 миллим.) и что вся масса генов заключена в ничтожнейшей части клетки, то нельзя не прийти в изумление перед живучестью и стойкостью наследственных свойств, переходящих из поколения в поколение.

По законам менделизма, общим всей живой природе, способные передаваться по наследству признаки делятся на две группы: преобладающие („доминантные") и уступающие (при столкновении с первыми)—т. наз. „рецессивные". При изучении отдельных признаков (а также уродств или болезней) устанавливается, прежде всего, доминантный или рецессивный тип его наследования; тогда уже можно с большей или меньшей вероятностью определить

частоту и тип передачи его нисходящему потомству; менделизм даже дает возможность точно предсказать количественные соотношения в появлении отдельных признаков у потомства.

Помимо „закона преобладания", учение о менделизме базируется еще на исключительно важном „законе расщепления признаков", согласно которому отдельные признаки могут передаваться по наследству независимо друг от друга. Переходит от родителей к детям не вся масса наследственных свойств в целом, а лишь различные комбинации их, при чем каждый из этих последних наследуется—либо не наследуется—независимо от других.

Если данный признак принадлежит к числу доминантных, то он может проявиться в потомстве и в том случае, когда им обладал только один из двух родителей, признак же рецессивный может проявиться только при наличии его у обоих родителей. Понятно, какое огромное значение имеет этот факт, особенно в вопросе о передаче по наследству болезней: рецессивная болезненная форма, не проявившись в потомстве, может тем не менее таиться в нем в скрытом виде и в одном из последующих поколений проявиться наружу. Обнаружить эту скрытую рецессивную форму мы не в состоянии.

На вопросы наследственности большое внимание обращали еще на заре истории; следы этого внимания имеются и в древнейших законодательствах, и в религиях, и в народных сказаниях—вспомним, например, библейскую легенду о Иакове и овцах Лавана, о грехах родителей, за которые потомство расплачивается „до третьего поколения" и т. д.

В деле борьбы за лучшее потомство центральное место занимает, конечно, законодательство о браке, брачные обычаи и правила. Казалось бы, в такой интимной области, как половая любовь, люди не могли и не могут терпеть ограничения своей воли, все относящиеся сюда писанные законы и неписанные бытовые обычаи нормируются как будто бы врожденным инстинктом пола. „Страсть любви —говорит основатель евгеники Фр. Гальтон—кажется та-

кой непреодолимой, что попытка управлять ею представляется безрассудством".

Но в действительности, как показывает история всех народов, вмешательство государства в брачную жизнь имело имеет место всегда и везде. Брачные обычаи и брачные законы основаны вовсе не на природном инстинкте, а на соображениях социальной целесообразности, Вместе с тем, как в данной стране, в данном обществе изменялись условия и внешняя обстановка—изменялись и общепринятые нормы полового союза.

Что дело здесь вовсе не в природном инстинке, видно из того, как разнообразны, а часто и прямо противоположны друг другу, брачные правила в разное время и у разных народов: здесь узаконенное многоженство, а там обязательная, подкрепляемая уголовным законом, моногамия, у одного народа допускаются только „эндогенные" браки (т. е. в пределах данного народа своего племени), у других же, наоборот—браки экзогенные и т. д.

Общеизвестно также, как разнообразно, даже в наши дни, законодательство о браках между близкими родственниками:*); наконец, кровосмесительный союз между отцом и дочерью или между матерью и сыном, который современному европейцу кажется столь отталкивающим и недопустимым, был у многих древних народов вполне обыденным явлением, а, напр., египетские фараоны даже обязаны были жениться на своих родных сестрах, чтобы не унизить свое божественное происхождение.

Ограничение в брачных правах, вносимое новым законом, всегда отвечает изменившимся условиям и потребностям коллектива. Постепенно оно так крепко вростает, внедряется в быт, что уже перестает ощущаться людьми как насилие: им начинает казаться, что существующий порядок—единственно возможный, что иначе и быть не может.

---

*) Родители Чарльза Дарвина были родственники (двоюродные брат и сестра); брак этот в 14 из штатов Сев. Америки был бы, по местным законам, недопустимым.

Но если до сих пор все обусловленные социальной целесообразностью ограничения проводились в жизнь как бы ощупью, бессознательно, то почему же не предположить, что в будущем станет возможным достигать тех же (евгенических) целей, идя путем сознательным и планомерным, а именно—поощряя, на основах науки, одни браки и запрещая другие?

С течением времени положения евгеники могут стать обычаем и законом; человечество столь же мало будет тяготиться этими последними, как мало оно сейчас тяготится, напр., запрещением кровосмесительных браков или браков с душевнобольным.

Разумеется, это дело далеко не сегодняшнего дня: в настоящее время всякая попытка евгенистов провести свои требования в практику, в законодательство нередко встречает даже в интеллигентных слоях решительный отпор. И вожди евгенического движения глубоко правы, когда они всеми силами предостерегают против поспешности в проведении евгенических проектов в жизнь: такая торопливость грозит внушить массам недоверие к новой науке и затруднить проникновение ее идей в сознание масс.

Первый, академический период в истории евгеники, когда ученые в тиши кабинетов и лабораторий накопляли факты, изучали их, давали им освещение и делали выводы, теперь, по мнению авторитетных евгенистов, уже закончился или подходит к концу. Второй период должен быть посвящен, главным образом, самой широкой пропаганде евгенических идей: надо, чтобы обусловленные этими идеями требования стали прочным достоянием масс, подобно другим основным требованиям и условиям народного здоровья. И только тогда, когда почва для осуществления евгенических задач будет вполне подготовлена, только тогда встанет на очередь система практических, в первую очередь законодательных, мер.

Раз эти законы будут введены своевременно, они вскоре сами отживут свой век—ибо станут излишними: люди, даже не замечая этого и, во всяком случае, не испытывая

никакого насилия, будут следовать, в вопросе размножения, здоровым принципам усовершенствования человеческой породы. Отец современной евгеники, Фр. Гальтон даже называет евгенику „религией будущего", новым евангелием человечества. В дальнейшем мы увидим, что к этому евангелию приходится все же отнестись с такой же осторожностью, как и к евангелию церковных религий: в освещении евгенических задач, делаемом многими буржуазными учеными Западной Европы и Америки, ясно звучат чисто классовые, враждебные нашему советскому сознанию, ноты.

По характеру выставляемых задач следует отличать евгенику предупредительную, которая совпадает, в сущности, с социальной гигиеной (и профилактикой), от евгеники в собственном смысле слова; эта последняя охватывает либо запретительные, ограничительные меры (отрицательная евгеника), которые имеют целью уменьшить появление плохого, неполноценного потомства—либо меры творческие (положительная евгеника), ставящие себе задачей прямо способствовать появлению биологически ценных особей.

Что для коллектива, вообще для будущего человечества ценнее и значительнее—увеличивать размножение лучших элементов или уменьшать, устранять размножение худших? Другими словами, какой евгенике—положительной или отрицательной—надо отдать предпочтение?

Совершенно очевидно, что положительные меры имеют все преимущества перед системой запретов или ограничений в браке. Что эти запреты связаны с насилием над отдельными личностями, с этим можно было бы, во имя интересов общества и будущих поколений, примириться: „каждый ребенок имеет право быть хорошо рожденным", (т. е. рожденным от здоровых, биологически ценных родителей), и воспитание ребенка, по удачному выражению английского евгениста Харгайта, „должно начинаться за сто лет до его рождения".

Таким образом, с стеснением воли неполноценных или вообще нежелательных элементов—хотя бы в такой важ-

ной для человека области, как область половой жизни— можно было бы, повторяем, не считаться. Но, во-первых, сколько-нибудь полно осуществить эти запретительные нормы (конкретнее о них будет сказано ниже) немыслимо: на место не разрешаемого, по евгеническим соображениям, так назыв. „законного" брака становится тайное, нерегистрируемое и потому неуловимое сожительство, и нежелательные элементы продолжают все-же размножаться.

Утешать же себя, что порочные роды, как показывает статистика, сами мало-по-малу вырождаются, нельзя, ибо этот процесс вырождения и вымирания все же затягивается на 100—200 лет, да и покупается он очень дорогой ценой—ценой убийств, преступлений, проституции и т. д. Так, в Америке было прослежено потомство некоего Джюка, рыбака-пьяницы, и проститутки: они поженились в конце 18-го века и в течение 75 лет дали 1.200 потомков, в большинстве проституток, воров, нищих, идиотов и бродяг; государству они обошлись по меньшей мере в 2,5 мил. долларов.

В противоположность культуре древности, современная культура сохраняет слабых, порочных и больных, и эти элементы часто отличаются большой плодовитостью—по крайней мере, в первом поколении.

Что отрицательные методы евгеники не могут претендовать на радикальное улучшение человеческой породы, это ясно: если бы даже удалось очистить всю популяцию от носителей нежелательных генов, то этим мы еще не закрепили бы в человечестве типов желательных, биологически ценных. Но этого мало: в отдельных и, притом далеко не исключительных случаях, мы рискуем, идя по пути отрицательного отбора, лишить человечество и высоко ценных в том или другом отношении наследственных зачатков.

Действительно, наследуемые признаки, по уже известному нам закону Менделя, передаются потомству независимо друг от друга, и может случиться, что рядом с тем недостатком, из-за которого мы лишаем данную личность права иметь потомство, она обладает другими

признаками, евгеническая ценность которых с избытком покрывает этот дефект.

На евгеническом с'езде Британской ассоциации (в 1914 г.) Бетсон образно иллюстрировал эту мысль, разбирая вопрос о том, нужно ли было бы Каина, родоначальника всех убийц на земле, не допустить до размножения? И Бетсон пришел к заключению: нет, не нужно. Если Каин оставил всем будущим поколениям в наследство зачатки убийства, то он же основал первый на земле город, от него пошли первые кузнецы и ремесленники.

Впрочем, нет нужды углубляться в дебри библейских легенд: иллюстрации к сказанному выше легко подобрать где угодно. Известно, напр., что Достоевский был эпилептик, Гоголь, Мопассан, Эдвард По были душевнобольными. Чехов был чахоточный, Гете родился в асфиксии, Вальтер-Скотт и Байрон страдали в детстве параличом, Ньютон родился недоношенным, Гюго появился на свет полумертвым, Кант, Коперник, Гумбольдт, Декарт, Руссо были очень слабыми, хилыми детьми.

Таких примеров, где в хилом, больном организме, иногда и с неуравновешенной психикой, таятся высокие духовные силы, таланты в разных сферах деятельности, можно привести десятки; еслибы ко всем этим больным и биологически-порочным людям подойти с голой биологической меркой и отнять у них право на счастье в любви и на потомство, то мы, помимо всего прочего, совершили бы вопиющее преступление перед человечеством, лишив его, быть может, величайших умов и гениев, двигающих культуру.

Во всяком случае, решительные меры ограничения допустимы только в отношении тех дефектов или вообще уклонений от нормы, которые являются прирожденными, а не благоприобретенными, и притом, принадлежат к числу передающихся по наследству. Между тем, учение о наследственности еще недостаточно разработано и не может покуда уполномочить к таким, как-никак, очень тягостным ограничениям прав личности.

Вопрос о том, передаются ли по наследству признаки не врожденные, а приобретенные в течение жизни — один из основных, в практическом смысле, вопросов в интересующей нас области, и на нем нам придется ниже остановиться подробно, теперь же присмотримся к тому, что уже добыто наукой в области наследования признаков вообще.

Число признаков, в отношении которых наблюдается передача по наследству, огромно, но конкретно форм и характера этой передачи мы, за некоторыми исключениями, еще не знаем. Эту относительность наших знаний удачно иллюстрирует остроумный ответ Бернарда Шоу одной эксцентричной красавице, американской танцовщице: „Не находите ли вы, что союз умнейшего человека в мире, каким вы слывете, и одной из красивейших женщин, какой признают меня, дал бы совершенное потомство?".—Но вы забываете,—возразил ей Шоу—что наш ребенок мог бы унаследовать мою внешность и ваш ум".

Сравнительно полно изучены с точки зрения наследственности те внешние признаки—цвет глаз, волос, кожи, форма носа, рост, различные уродства—которые уже в силу своей заметности особенно доступны для изучения. С другой стороны, как этого и можно было ожидать на основании законов менделизма, легче поддаются изучению те признаки (а также болезни и уродства), которые носят доминантный характер. Напр., так назыв. „волчья пасть" или короткопалость имеют характер доминантных признаков и потому их можно проследить в ряде поколений; напротив, карликовый рост, как признак рецессивный, в дальнейшем подвергается менделевскому расщеплению и потому прослеживается с трудом.

Не следует думать, будто внешние особенности вроде цвета глаз или окраски кожи имеют малый удельный вес и потому изучение их передачи по наследству лишено научного значения: именно на внешних признаках вырос у Менделя самый фундамент учения о наследственности (он оперировал с растениями). В частности же, такие признаки, как та или иная степень пигментации

кожи и характер этой пигментации, находятся в тесной, хотя и не вполне еще выясненной, связи с основными биологическими особенностями организма. *)

В виде примера того, что уже прочно добыто наукой в данной области, отметим, что уже теперь можно с уверенностью утверждать следующее: у двух голубоглазых белокурых родителей не может быть ребенка черноглазого и брюнета, тогда как у двух черноглазых брюнетов может, хотя и в редких случаях, родиться голубоглазый брюнет. Правило это так прочно обосновано, что им даже можно руководиться в юридических вопросах, напр., при выяснении на суде вопроса, является ли данное лицо сыном определенных родителей (Кольцов).

В общих чертах установлена наследственная передача окраски кожи,—вопреки известному анекдоту о женщине, которая об'ясняла рождение у нее чернокожего ребенка тем, что она во время беременности испугалась негра. Сравнительно полно установлена также передача по наследству цвета волос и курчавости их, волосистости на теле и некоторых других признаков, но пока только в общей форме — т.-е. достигнуто гораздо меньше, чем в отношении опытных животных.

Изучение признака облегчается в тех случаях, когда его наследование у людей (как мы это видим, например, при окраске волос), об'ясняется теми же факторами что и у других млекопитающих: в этих случаях результаты экспериментов с разведением кроликов, мышей и морских свинок можно прямо переносить на человека.

Если, таким образом, мы по отношению к ряду признаков уже сейчас в состоянии, хотя и приблизительно, предсказывать заранее, какие именно признаки получатся у детей данной пары, то неизмеримо больше, конечно, таких признаков и свойств, относительно которых пути перехода по наследству только еще нащупываются наукой.

---

*) В нашем духовенстве, где священство обычно переходило из поколения в поколение, очень часто наблюдался высокий рост и хороший голос.

Сложность задачи еще усугубляется существованием таких признаков, которые в своей передаче потомству ограничены полом. Таковы, например, некоторые формы болезней: дальтонизм (цветная слепота, неправильное восприятие цветов) встречается у мужчин в десять раз чаще, чем у женщин; у первых частота дальтонизма выражается 4 проц., у вторых—только 0,4 проц. Еще поучительнее пример гемофилии (кровоточивости), состоящей в том, что кровь больного лишена способности свертываться; у женщин эта болезнь никогда не встречается *).

Наконец, помимо различий по полу, наблюдаются, как известно, и расовые различия в отношении к той или иной болезни.

Вообще же способность передаваться по наследству свойственна огромному ряду как физических, так и психических особенностей. Помимо уже отмеченных выше внешних признаков тела, наследуются различные психические особенности, как: общий склад характера, так наз. темперамент, специальные способности и таланты. Несомненно наследственный характер носят такие уродства, как брахидактилия (короткопалость), шестипалость, волчья пасть, заячья губа (расщепление верхней губы), карликовый рост.

К числу болезней, при которых можно с уверенностью говорить о передаче по наследству, относятся: ряд болезней кожи, нервной системы, глаз (катаракта, глаукома, ночная и цветная слепота), некоторые болезни обмена веществ (сахарная болезнь), болезни крови (гемофилия), тучность, глухонемота; сюда относятся также эпилепсия, слабоумие и некоторые душевные болезни.

Само собой понятно, что сказанного не надо понимать в том смысле, будто передача этих признаков носит роковой. безусловный характер: они наследуются не в каж-

*) Гемофилией между прочим, страдал Алексей, сын Николая Романова; он унаследовал ее от своей матери Алисы. Последняя, как женщина, сама не болела гемофилией, но несколько ее родственников погибло от этой болезни.

дом поколении и не у всех членов данного поколения. Острые же заразные болезни, как холера, тиф, оспа и др., конечно, не передаются по наследству и не отражаются на потомстве.

Кроме того, не следует забывать, что, ведь, передаются по наследству не только плохие черты, но и весьма ценные качества и таланты. Достаточно вспомнить хотя бы частоту музыкальных способностей в отдельных родах, например, в роду Моцарта, Бетховена и, особенно, Баха: в роду гениального Иоганна Себастьяна Баха в течение пяти поколений был целый ряд более или менее крупных музыкальных талантов.

В роду знаменитого математика Бернулли насчитывалось восемь первоклассных математиков, в семье Сименса—целый ряд изобретателей, внуками ученого Эразма Дарвина были знаменитый Чарльз Дарвин и отец евгеники, Фр. Гальтон, а три сына Чарльза Дарвина—крупные ученые в области астрономии, ботаники и евгеники.

Поэтому наследственность не должна быть для нас пугалом: далеко не всегда она является проклятием,—нередко она, напротив, благословение и великий источник блага. Если, по французской поговорке, „мертвый хватает живого", если велика власть ушедших поколений над новым потомством, то в этой власти рядом с дурными и порочными чертами много и благодетельного также.

Правда, нежелательных черт в наследственной массе человечества накопилось за время его существования гораздо больше, чем черт положительных и ценных, и люди, естественно, хотят избавиться от этого отрицательного наследства, но идти к этому приходится, как уже говорилось, очень осторожно.

Выше мельком упоминалось об особенностях (или признаках) приобретенных в отличе от врожденных.

Нетрудно видеть, что—по крайней мере, в смысле практических мер евгеники—вопрос о том, способны ли передаваться по наследству и приобретенные признаки также или же это свойственно только признакам врожденным, является поистине центральным, основным.

В самом деле: если приобретенные признаки наследуются и могут быть закреплены в потомстве, став в свою очередь факторами наследственности для будущих поколений, то шансы на сравнительно быстрое достижение конечной цели евгеники значительно возрастают: путем целесообразного воспитания детей, физкультуры и социальных реформ (подробнее обо всем этом будет сказано ниже) есть надежда закрепить в потомстве ценные черты, не нуждаясь для этого в прямом подборе производителей, который по отношению к людям невыполним.

Если же приобретенные признаки к потомству перейти не могут, то остается, значит, расчитывать исключительно на биологические факторы, а за факторами социальными и вообще факторами внешей среды приходится признать очень скромную роль. Путь же биологической эволюции—половой подбор и борьба за существование—есть путь крайне медленный и тернистый, он связан с тягчайшими жертвами и с большим трудом поддается контролю и воздействию человека.

Итак: передаются ли приобретенные признаки потомству?

Относительно таких приобретенных признаков, как, например, повреждения—потеря ноги, руки, глаз—ответ, конечно, безусловно отрицательный: от потерявшего на фабрике руку рабочего не родится однорукий ребенок. Когда в Германии после европейской войны поставили себе целью избавить города от переполнения инвалидами, способными к сельской работе, в деревнях ввели различные льготы и облегчения для браков между этими инвалидами и солдатскими вдовами; это—пример практического приложения непередаваемости травм по наследству.

Равным образом, если отрубить кошке хвост или быку и корове рога, то нельзя ожидать появления на свет безхвостого или безрого потомства (К. Э. Бер, 1834 г.). Но если соединить быка и корову, безрогих от природы, (такая порода существует), то часть их потомства, в сог-

ласии с законами Менделя, родится безрогим, и в дальнейшем можно будет, путем соответствующего отбора, получить чистое безрогое поколение.

До самого последнего времени огромное большинство авторитетных евгенистов всех стран—в том числе и наши русские Н. К. Кольцов и Ю. А. Филипченко *) решительно отрицали передаваемость приобретенных признаков по наследству. По мнению подавляющего большинства ученых, зародышевая плазма обладает полной независимостью от внешних влияний или, по выражению английского евгениста Т. Моргана, „яйцо дает тело, но не тело—яйцо".

Свою точку зрения они подкрепляют огромным количеством наблюдений над повседневными явлениями и точных, строго научно поставленных, экспериментов над животными. Так, например, упражнение или неупражнение определенных органов или мышечных групп совершенно не отражается, как известно каждому из опыта, на развитии этих органов или групп у потомства: дети кузнеца не наследуют от отца его сильных и мускулистых рук, как и футболист не передаст своих длинных ног потомству. То же можно сказать и о бинтовании и уродовании ног у китаянок—в каждом поколении приходится, следуя моде, начинать уродование сызнова—и о сдавливании, уродовании печени корсетом у женщин.

Чрезвычайно выразителен следующий опыт Кестля и Филипса: удалив у белой морской свинки яичники, они пересадили ей под кожу живота яичник от черной самки, и, после скрещивания первой с белым самцом, получилось черное потомство. Очевидно, тело белой свинки не повлияло на заключенное в ней яйцо.

Вообще учение Ламарка о наследственном характере влияния среды, как и взгляды позднейших неоламаркистов на этот счет, должны быть, по мнению большинства евгенистов, отвергнуты,—уже потому, что они идут

*) Т. Морган и Ю. Филипченко—„Наследственны-ли приобретенные признаки?". Ленинград 1925 г.

вразрез с незыблемо установленным принципом Менделя о расщеплении и взаимной независимости признаков у потомства.

Если, тем не менее, эти взгляды до сих пор еще так живучи и имеют столь широкое распространение, то это, по Ю. А. Филипченко, об'ясняется просто тем, что Ламарк „опирался на очевидность", а ничто так трудно не поддается опровержению, как то, что кажется очевидной истиной. Достаточно вспомнить, например, сколько усилий, времени и борьбы понадобилось для того, чтобы опровергнуть „очевидное" вращение солнца около земли, которое в течение тысячелетий считалось бесспорным и даже не требующим доказательств.

Люди, естественно, очень хотят передать своему потомству плоды своих телесных и умственных приобретений, и это „желание родит мысль", по немецкой поговорке. Тем более, что видимость, действительно, подтверждает гипотезу о наследственности приобретенных признаков. Еще в греческой мифологии черный цвет кожи африканских народов об'яснялся тем, что Фаэтон, управляя колесницей солнца и пролетая над Африкой, слишком приблизился к земле и обжег кожу населения.

По мнению целого ряда выдающихся евгенистов наших дней, признавать наследственность приобретенных признаков — значит обнаруживать такую же наивность, какая присуща автору этого мифа о колеснице Фаэтона. Сименс высказывается даже еще более определенно: „Наивный оптимизм" о влиянии спорта, физкультуры, социальных реформ и воспитания—это не что иное как „грубое биологическое невежество, суеверие, жалкое непонимание основ биологии."

Приблизительно так высказывается и глава немецкого евгенического движения Шальмейер. В согласии с ними наш Н. К. Кольцов, председатель Русского Евгенического Общества, считает единственным методом облагорожения породы „подбор производителей, а отнюдь не воспитание детей в тех или иных условиях, или те или иные социальные перевороты". Наконец, англичанин Пеннет дает

для того же выв да краткую, но исчерпывающую формулу: „Спасение в гамете и только в гамете“. *)

Вопрос этот создал обширную литературу, в которой, вопреки традициям ученых и чисто академическому, казалось бы, характеру проблемы, часто звучат неожиданно страстные ноты. Уже одна эта страстность, столь мало, как будто, подобающая пророкам „нового евангелия“, настраивает подозрительно; ниже мы увидим образцы откровенно-классового (буржуазного) подхода части евгенистов к их проблеме.

Особенно усиленно дебатируется вопрос о так называемой „индукции“, параллельной и соматической. Под параллельной индукцией разумеют наследственные изменения настолько сильные, что они затронули не только тело, но и половые клетки, а под индукцией соматической — наследственные изменения, столь значительные, что, отразившись только на теле, они в то же время через тело передались и половым клеткам.

Если при обычных условиях передача приобретенных признаков по наследству не существует, то, быть может, достаточно сильные воздействия внешней среды в состоянии все-таки либо затронуть и тело, и половые клетки, либо, затронув только тело, косвенно отразиться на гамете? Возможен ли, другими словами, хоть один из двух названных видов индукции?

Знаменитый ученый Вейсман вначале совершенно отрицал возможность и того и другого вида индукции, но в 1893 г. он вынужден был частично изменить свое мнение и признать возможным, что особенно сильные воздействия внешней среды могут отражаться не только на теле особи, но и на ее половых клетках, а, значит, и на потомстве.

Действительно, сильным внешним воздействием, — например, воздействием высокой температуры — можно у некоторых низших животных вызвать настолько резкие

*) Гамета—половая клетка с заключенными в ней наследственными свойствами.

изменения, что последние достигают и половых клеток, отражаясь на потомстве. Но, согласно господствующим среди евгенистов взглядам, эти изменения сохраняются лишь в течение нескольких поколений, а затем постепенно ослабевают и, наконец, исчезают вовсе; таким образом, о типичной наследственности здесь говорить нельзя.

Согласно этому воззрению, дети, происшедшие от алкоголиков, сифилитиков или туберкулезных родителей, не больны наследственно этими недугами: если исключить случаи прямого заражения, то в таких семьях наблюдается лишь предрасположение к данному заболеванию, в виде общего ослабления конституции ребенка, но это ослабление держится лишь в течение одного—двух поколений (библейское „до третьего" или „до седьмого колена"), а потом неблагоприятное влияние сглаживается.

Происходящие на подобной почве изменения—это, по выражению Ю. А. Филипченко, ни что иное как „длительные модификации": хотя воздействие извне и отражается на плазме половых клеток, но оно не наделяет плазму новыми зачатками, новыми генами — а без генов нет и новых наследственных свойств.

В своих суровых выводах представители большинства в евгенике пытаются нас утешить соображением о том, что раз нельзя унаследовать ценные приобретенные признаки (следствие воспитания, навыка, упражнений и т. д.), то ведь не переходят к потомству и неблагоприятные последствия внешних воздействий.

Но вполне утешить нас это соображение не может, так как желательных в смысле наследования навыков и особенностей мало, — гораздо больше таких, наследуемость которых составляет серьезную угрозу для будущих поколений. Таковы все последствия нищеты, социального гнета, низкого уровня культуры в массах—в виде алкоголизации, сифилизации, роста абортов, проституции, вырождения и других социальных бедствий.

Во всяком случае, ждать достижения евгенических целей — создания комбинаций из лучших наследственных зачатков и устранения худших — только от одного процесса размножения, которое евгеника обещает рационализировать, невозможно: рядом с этим процессом, хотя, быть может, и не на равных с ними правах, безусловно должна стоять и широкая система социальных и гигиенических мер.

Полезности этих мер не отрицают, конечно, и представители „большинства", но последние видят в них только подспорье к основным, биологическим методам, отрицая за ними всякую самостоятельную биологическую ценность.

С такой трактовкой роли внешней среды невозможно согласиться.

Уже a priori — справедливо замечает М. Волоцкой*) — нельзя предположить, чтобы социальные перевороты, революция, ломая весь уклад жизни людей, совершенно не отражались на природе населения. Первобытный человек изменялся, главным образом, в зависимости от климата и других природных условий, человек же современной культуры меняется, прежде всего, в зависимости от социально-экономической среды.

Действуя на внешний мир, человек тем самым изменяет и свою собственную природу, и вся история человечества есть непрестанное изменение этой природы (Маркс). Ненаучно, утверждать, будто путем отбора лучших можно достичь прочного улучшения человеческой породы *независимо от внешних условий:* такой независимости быть не может.

Но против взглядов представителей „большинства" можно привести и не одни только априорные соображения.

Раз они сами признают, что достаточно сильные внешние воздействия способны влиять на половые клетки и, значит, отражаться на потомстве, но ограничивают это

*) „Классовые интересы и современная евгеника". М. 1925.

явление лишь несколькими поколениями, то где же основание утверждать, что, повторяясь систематически, эти последствия внешних воздействий, не могут упрочиться и закрепиться в потомстве? Если вначале эти изменения не носят типично-наследственного характера, то почему современем, в результате длительных и многократных модификаций, они не могут сделаться типично-наследственными?

Новых генов—говорят нам—при этом не образуется, а раз нет новых генов, то нет и наследственных свойств. Но о том, образуются ли новые гены, мы можем судить только по внешним изменениям, а эти последние под влиянием среды, бесспорно, наступают. Вопрос, следовательно, только в том—вопрос, правда, достаточно сложный и трудный для разрешения—как эти изменения зафиксировать в длинном ряде поколений.

Наконец, существуют и прямые факты (покуда, впрочем, лишь единичные), которые идут вразрез с взглядами „большинства". Сюда относятся, главным образом, две серии опытов с белыми мышами: первая—факты прямой передачи приобретенных свойств у этих животных, описанные в самое последнее время Метальниковым и Ру в Париже (институт Пастера), вторая—факты передачи по наследству условных рефлексов, установленные академиком И. П. Павловым (Ленинград).

Мы не остановимся на опытах Метальникова и Ру, хотя отрицать их солидность невозможно, и такой опытный экспериментатор, как знаменитый парижский хирург-эндокринолог Сергей Воронов, в своих последних (алжирских) опытах по улучшению пород скота путем пересадки половой железы исходил именно из данных, полученных в Пастеровском Институте. Но на опытах И. П. Павлова с условными рефлексами у белых мышей нам необходимо задержаться.

Суть их заключается в следующем: развивая у названных животных условный рефлекс на звонок (путем выработки ассоциации между звонком и дачей мыши пищи),

И. П. Павлов установил, что этот рефлекс постепенно закрепляется у ее потомства.

Так, в первом поколении мышей комбинация со звонком, которая приучает животное по звонку бегать к кормушке, вырабатывает у животного соответственный рефлекс после 300 уроков, во втором поколении уроков уже требуется только 100, в третьем—30 и, наконец, в четвертом рефлекс приобретается уже после пяти уроков.

Имя академика И. П. Павлова, конечно, ручается за строгую научность и вообще безупречность постановки опытов—и одного этого факта достаточно, на наш взгляд, для того, чтобы поколебать твердыню ненаследственного характера приобретенных признаков.

Как же относятся к этим опытам евгенисты? Говоря о них*), Т. Морган, один из крупнейших евгенистов нашего времени, ограничивается лишь уклончивым замечанием о том, что покуда подробности работы Павлова неизвестны в точности, об этом явлении еще трудно судить.

Но основного факта, вытекающего из опытов Павлова, не опровергнуть, а один такой факт весит больше, чем десятки примеров, опровергающих передачу приобретенных признаков по наследству. Почему мы должны считать непререкаемым результат опыта Кестля и Филипса с пересадкой яичника черной самки белой морской свинке (см. выше)—и не придавать решающего значения опытам Павлова с условными рефлексами?

Как мы уже указывали, то или иное решение вопроса представляет интерес отнюдь не только академический.

Убеждение большинства современных евгенистов, что единственным методом разведения породы может служить лишь подбор производителей, носит аристократический, классово-буржуазный характер. Основанная на этом убеждении идея разведения талантов путем брачного подбора тоже — продукт буржуазной культуры; такой евгенике необходимо противупоставить „биосоциальную" евгенику, имеющую своей задачей интересы пролетариата, как

*) Т. Морган, loc cit.

класса, которому ближе всего интересы человечества (М. Волоцкой).

Главным резервуаром, источником ценных наследственных черт, современные евгенисты считают буржуазную интеллигенцию: только она, будто бы, по чисто биологическим своим свойствам призвана снабжать человечество мыслителями, поэтами, организаторами, вождями—словом, выдающимися дарованиями во всех областях.

Очень сомнительно вообще, чтобы ценные гены были присущи какому-нибудь одному классу: таких членов много во всех классах общества, и всего больше, может быть, именно в среде рабочих и крестьян. Да и срок отбора ценных генов, напр., в русской интеллигенции—как и указывалось в литературе вопроса—еще слишком мал для того, чтобы новые гены могли успеть укрепиться в ней путем подбора.

Вообще, с чистой биологической меркой можно подходить только к животным и растениям, говоря же об обществе, разделенном на классы, нельзя не принимать в расчет также влияния классой борьбы и классовой солидарности.

В капиталистическом обществе все факторы, ведущие к вырождению—а значит, и к понижению генотипа (наследственного типа) — каковы болезни, войны и т. д., поражают преимущественно экономически-слабые группы населения. Поэтому решающее значение имеет именно социальная среда, социально экономическая обстановка.

Если в царской России могли в „низах" общества появиться Ломоносов, Горький или Шаляпин, то сейчас мы насчитываем уже десятки вышедших из среды трудящихся писателей и ученых, скульпторов и поэтов, революционеров и крупных организаторов.

Специально холить и лелеять гены буржуазной интеллигенции нет необходимости: придя к власти, рабочие и крестьяне, т. е. большинство человечества, принесут с собой огромный, неисчерпаемый запас новых генов, ценных даже в чисто биологическом смысле.

Конечно, признавая наследственность приобретенных признаков вообще, мы логически обязаны признать и не-

благоприятные наследственные массы, накопившиеся у пролетариата в ряду поколений. Но в том-то и заключается задача, чтобы эти неблагоприятные наследственные черты—результат, прежде всего, классового строя—устранить.

Пусть порода улучшается в среде данного класса путем подбора генов—из этого возможен только один вывод: надо, значит, идти к уничтожению как этих классовых замыканий, так и связанных с ними биологических преимуществ путем уничтожения самых классов.

Из сказанного ясно, что искусственный подбор в человеческой среде, „селекция" может сделаться как другом трудящихся классов, так и их врагом, орудием их угнетения. Что это так, всего лучше доказывается откровенными заявлениями некоторых видных евгенистов; примеры этих заявлений, собранные М. Волоцким*), мы здесь приведем.

Новые кастовые разделения, новые социальные противоречия и новые цепи несет с собой столь безобидная на первый взгляд, беспристрастная гальтоновская „религия будущего". Особенно резко это сказывается в положениях „расовой гигиены", как предпочитают называть евгенику в Германии.

Вообще немецкая, (а также скандинавская и отчасти, английская) трактовка расового момента сильно отдает отталкивающим в своем высокомерии и узости национализмом и даже прямым шовинизмом: таково, например, восхваление северной расы высокорослых длинноногих блондинов, в которых немцы видят идеальный образец, совершенных представителей человеческого рода.

Сюда же относится скорбь некоторых авторов о том, что рядом со слабой рождаемостью в странах высшего типа, каковы Франция, Германия, Англия и Скандиавия, более низкие расы, славянские, размножаются быстро: вторая расовая группа „своей азиатской примесью" вытесняет народы первой группы.

---

*) „Классовые интересы и современная евгеника". М. 1925.

Но это уже вопрос о вырождении его мы коснемся ниже. Теперь же вернемся к основным принципам и идеалам некоторых современных вождей евгеники.

В этом отношении особенно характерны взгляды крупнейших представителей расовой гигиены в Германии, Сименса и Ленца.

Первый, Сименс скорбит (1923) о том, что фамилии, которые в состоянии сохранить и вести вперед человеческую культуру, постепенно вымирают и вырождаются; этот процесс он об'ясняет „систематической пролетаризацией нашего подрастающего поколения. По его мнению, исчезновение многих аристократическях фамилий гибельнее самых разрушительных войн.

Почтенному немецкому профессору можно было бы возразить даже на языке чистой биологии. Он не замечает—или сознательно замалчивает это—что, говоря так, он совершенно произвольно смешивает и отождествляет современную, капиталистическую культуру с культурой вообще. Ведь вымирают всегда биологически худшие, и ухудшение современных культурных рас, понижение их биологического уровня — конечно, *не причина* общего упадка, а *результат* этого последнего.

Еще яснее становится лицо расовой гигиены, как ее изображает Сименс, в том, что он даже готов приветствовать частичное вымирание нации, если только это вымирание будет происходить, главным образом, за счет пролетариата; по той же причине он признает желательным ограничить размножение в этой „неблагородной среде", пропагандируя широкое применение противозачаточных средств.

Допустимо ли премировать многодетные семейства независимо от их классовой принадлежности? — спрашивает Сименс. И твердо отвечает: нет, премировать надо только семьи высших слоев общества, да и вообще к произведению потомства следует привлекать только людей зажиточных.

Такова именно—заметим кстати—практика всех буржуазных стран в данном вопросе. Если Франция, обес-

покоенная страшным падением рождаемости и даже прямой угрозой обезлюдения, еще в 1913 г. ввела у себя премирование многодетных, *) то цель этой меры, конечно,—поддержка мелких собственников, а не рабочих, которым воспитать даже двух детей материально почти не под силу. Между тем, как мы увидим в своем месте, только при наличии трех-четырех детей численность данной группы населения может удержаться на своем уровне.

Большого внимания заслуживают и некоторые, „евгенические" выводы другого представителя немецкой расовой гигиены, Ленца.

На примере таких „высоко ценных" личностей, каковы Бисмарк, Гинденбург и Людендорф, он доказывает, что крупная земельная аристократия, крупное землевладение представляет собой положительный в евгеническом смысле фактор, поскольку им достигается отбор энергичных и предприимчивых натур, дается простор их инициативе. Напротив „карликовые наделы поведут лишь к разведению непритязательных натур китайского типа".

Об интенсивном размножении пролетариата грустит и выдающийся английский евгенист Пирсон, согласно которому интеллигентный средний класс—это „позвоночный столб нации", ибо из него выходят мыслители, вожди и организаторы. По мнению Пирсона, средний класс дает гораздо больше талантов, чем рабочие, причем эта разница обусловливается „не недостатком образования, а недостатком породы".

Правда, Пирсон находит необходимым расставлять лесенки, по которым рабочий мог бы выкарабкаться наверх, но, как справедливо отмечает М. Волоцкой, принцип кастового разделения общества у Пирсона все же остается: этими лесенками для вскарабкивания рабочих в среду буржуазии указанный принцип, прибавим мы от себя, лишь еще больше подчеркивается.

---

*) За третьего ребенка выдают родителям 300 фр., за четвертого—350 фр. и за пятого—500 фр. (даже если он внебрачный).

В совершенно неприкрытой форме те же тенденции выражены в следующих знаменательных словах английского евгениста Шоу (не писатель Б. Шоу!):

„Если не будет больше больных, дегенератов, слабых умом и волей – что будет тогда с людьми? Никто не захочет исполнять будничную работу, для которой вовсе не нужно первоклассной интеллигентности. Мы должны иметь массы, которые делают, что им прикажут. Всегда должно быть два класса: один, который находит функции и средства для работы, и другой, который их выполняет без рассуждений".

В разных странах евгеническое движение и, в частности, проводимые с евгеническими целями практические меры имеют свои отличительные особенности, но преобладают—в руководящих, по крайней мере, кругах евгенистов—именно те тенденции, какие только-что были обрисованы. Иначе, конечно, и не может быть: ведь, господствующими идеями, по Марксу, всегда являются идеи господствующих классов.

Неудивительно поэтому, что евгенический конгресс в Милане даже прямо прошел под знаком борьбы с пролетаризацией масс—борьбы, правда, замаскированной заботами о культуре и о человечестве, стоящему под угрозой вырождения.

Именно опасность вырождения, ставшая реальной угрозой для ряда культурных стран, особенно после войны, и вызвала обостренный интерес к задачам евгеники, она то и привела молодую науку к ее нынешнему расцвету.

Наибольших успехов евгеническое движение достигло в Германии, Англии, в скандинавских странах и особенно, в Соединенных Штатах Америки; странным образом отстала в этом отношении Франция, для которой если не вопросы уровня расы, то вопрос слабой рождаемости имеет исключительно важное и притом, остро-актуальное значение. Впрочем, сказанное относится лишь к теоретической разработке евгенических проблем, практические же меры проводятся особенноу силенно именно во Франции.

Для своего столь юного возраста евгеника сделала успехи, поистине колоссальные. Помимо огромной литературы, главным образом—на английском и немецком языках, в Англии, в Соединенных Штатах и в Германии существуют великолепные, прекрасно оборудованные евгенические институты и лаборатории, имеются (в Вене, в Амстердаме и у нас в Ленинграде) особые консультационные бюро по евгенике, издаются на всех культурных языках очень содержательные журналы, а в Соединенных Штатах есть даже, основанный в 1917 году, специальный „Фонд улучшения расы" в 300.000 долларов.

Одной из очень значительных побед движения, в смысле широкой пропаганды евгенических идей, надо признать факт быстрого роста кафедр по евгенике в целом ряде университетов Европы; в Америке число таких кафедр достигает в настоящее время почти 100. Постепенно осуществляется—в первую очередь, опять-таки, в Америке—одно из важнейших и действительно, целесообразных требований евгенистов, именно, включение евгеники, как обязательного предмета, в учебную программу в школах; в штате Орегона преподавание евгеники обязательно даже во всех школах.

Что до нашей страны, то разработка евгенической проблеммы (о практических мероприятиях мы будем говорить особо) у нас началась, в сущности, лишь после революции, в 1920 г. В настоящее время, кроме Евгенического Общества с несколькими отделениями и „Русского Евгенического журнала" в Москве, имеются в Ленинграде Бюро по евгенике и периодический орган „Известий" этого Бюро. с Ю. А. Филипченко во главе, а также, руководимый Н. К. Кольцовым, отдел евгеники при московском Институте Экспериментальной биологии.

При некоторых университетах ведутся статистические работы по евгенике и генетике, вообще же статистические и генеалогические исследования, как и создание специальных кафедр по евгенике, у нас еще только начинаются. Впрочем, при трех вновь организуемых институтах

по вопросам социальной гигиены учреждение таких кафедр уже предрешено.

Следует отметить, что московский ученый Флоринский в одном замечательном, совершенно неоцененном в царское время труде *) независимо от Менделя и Гальтона пришел к большинству основных выводов современного учения о наследственности и евгенике. Основным путем для улучшения человеческой породы автор считает рационализацию бракосочетаний.

Интересны строки из этой незаслуженно забытой книги о сравнительной наследственной ценности различных общественных групп (цит. по М. Волоцкому):

„Во многих случаях сметливому крестьянину или ремесленнику приходится чаще раскидывать мозгами, чем богатому, образованному дворянину. Вполне обеспеченный и довольный, он (дворянин) большей частью живет чужим умом, делает чужими руками. Понятно после этого, кто умственно работает больше и где мы вправе ожидать большего потомственного развития мозга.

„Теперь не покажется странным, если мы скажем, что вековая работа умственного воззрастания совершается не в одном, так называемом, образованном обществе, а еще с большей энергией, с большим напряжением она идет и копится, незаметно обогащая национальный ум, в тех классах, которые еще так недавно считались если не полулюдьми, то, по крайней мере, существами нисшими, обиженными природой".

Заканчивая этим наш, по необходимости беглый и неполный обзор *теоретических* основ евгеники, перейдем теперь к формам – или, точнее, попыткам—воплощения их в жизнь.

---

*) Усовершенствование и вырождение человеческого рода". Спб. 1866. В настоящее время книга эта переиздана (изд-во „Северный Печатник").

Во всех странах меры отрицательной евгеники, т. - е. путь ограничений и запретов, идут рука об руку с мерами положительными, причем первые, к сожалению, везде резко преобладают над вторыми.

Укажем важнейшие меры того и другого рода, уже применяемые или стоящие на очереди в разных странах.

На первом месте здесь, как и по теоретической разработке евгеники, по справедливости надо поставить Соединенные Штаты: нигде в мире идеи евгеники не проводятся в жизнь так широко, настойчиво и смело. Это и понятно: нигде нет такой расовой пестроты населения, такого тесного соседства белых с чернокожими и вообще цветными народами. Так как цветные расы, по убеждению „культурных" американцев, стоят биологичееки гораздо ниже их и они боятся деградации и вырождения страны в результате смешанных браков, то на ограничения в этой области Америка всегда обращала особенно серьезное внимание. Сюда же примыкает и законодательство о родственных браках.

С другой стороны, нынешняя Америка создалась из эмигрантов, выходцев из различнх стран Европы. Пионеры эмиграции, англичане и французы, потомки которых составляют нынешнее коренное население страны, отличались чрезвычайно ценными свойствами, представляли собой поистине отборный материал; именно их силе, крепости, энергии и предприимчивости и обязана Америка своим теперешним могуществом и богатством*).

Но в последние десятилетия, когда Европа обнищала, ряды эмигрирующих за океан дают все больший и больший процент экономически, а отчасти и физически, слабых и даже прямо больных элементов, особенно из Ирландии, России, Польши и Италии. И американская „демократия", исходя из принципа „Америка для амери-

*) С точки зрения наследственности здесь небезинтересно будет напомнить, что среди первых поселенцев Нового Света было много не только авантюристов и искателей приключений, но и преступников, искавших за океаном спасения.

канцев", все круче стесняет свободу эммиграции, обставляя ее все новыми ограничениями.

Наконец, третью и последнюю группу применяемых в Америке евгенических мер, составляет ограничение „неполноценных"**) элементов в праве вступать в брак и лишение их возможности производить потомство.

Что касается браков представителей белой расы с цветными, то в научной евгенике на этот счет нет единогласия. Если Ляпуж находил, что помеси всегда отличаются плохими качествами и об'яснял этот факт „красивой гипотезой о параллелограмме наследственных сил и возвратом к атавизму***), то, например, Колер об'ясняет успехи английской науки как раз их „гибридным" (смешанным) происхождением — как известно, англичане являются помесью кельтов, саксов и норманнов.

Противоречивы и данные о плодовитости таких гибридных браков. Так, на Филиппинах, где часты смешанные браки среди китайцев, малайцев и европейцев, наблюдается очень низкая рождаемость; индийские племена, смешиваясь с неграми или европейцами, вымирают, а число мулатов (помесь негров и европейцев в Америке), несмотря на рост числа смешанных браков, увеличивается очень медленно.

Целый ряд немецких авторов тоже подтверждает факт малой плодовитости смешанных браков; так, браки между евреями и немцами дают в 2—3 раза меньше детей, чем чисто-немецкие и чисто-еврейские браки, и бесплодие брака встречается в первом случае втрое чаще, чем в остальных.

Но рядом с этим имеется немало наблюдений, свидетельствующих, напротив, о хороших биологических свойствах потомства и о высокой плодовитости при таких смешанных браках; так, например, на о. Цейлоне от гол-

---

**) „Неполноценный" соответствует немецкому термину Minderwertig.

***) Т. Юдин—„Евгеника". М 19 5.

***) Атавизм—появление у потомков признаков, свойственных оталенным предкам, не наблюдавшихся долгое время в ряду предков.

ландцев и сингалезцев получается вполне здоровое и многочисленное потомство.

Несмотря на такую разноречивость научных данных, в 32 штатах Сев. Америки законом караются не только браки, но и незаконные сожительства с цветными расами (неграми и китайцами). Впрочем, некоторые авторы утверждают—и повидимому, с достаточным основанием,— что от брака с негром или китайцем американца удерживают не столько страх наказания, сколько инстинктивное, еще далеко не изжитое, отвращение белых рас к цветным. Забегая несколько вперед, отметим, в связи с вопросом о законодательстве Америки, один красноречивый факт: в штате Канзас еще в 1855 г. негру или мулату за связь с белой женщиной грозила... кастрация!

Что до родственных браков, то они столь же разноречиво расцениваются евгенистами, как и браки смешанные. Если в прежнее время консангвинисты (сторонники родственных браков) отрицали вредное влияние такой близкой крови, такого „размножения в себе", то антиконсангвинисты, напротив, утверждали, что подобные браки— прямой путь к вырождению и вымиранию.

Первые указывают на то, что родственные браки, особенно, если они имеют место втечение нескольких поколений, так что свойства брачущихся не освежаются притоком крови извне, очень часто дают хилое потомство с большим процентом душевных болезней, слабоумия и т. д. Вторые не менее убедительно ссылаются на полудикие племена, издавна живущие в эндогенных браках и на население небольших островов, удаленных от мира: и тут, и там, несмотря на родственные браки в течение долгого времени, никаких явлений вырождения или упадка плодовитости не наблюдается.

Наконец, можно указать на еврейский народ, где родственные браки испокон веков узаконены и религией и бытом; это не мешает еврейству отличаться исключительной живучестью и жизнеспособностью. Династии Птоломеев и Селевкидов, в которых в течение сотен лет братья женились на родных сестрах, тоже, видимо, не

страдали от таких родственных, точнее—кровосмесительных браков.

В настоящее время принимают, что сами по себе родственные браки не имеют ни хорошего, ни дурного влияния на потомство: все зависит от качества соединяющихся родственников, а также от того, в какой мере свойства одного родителя близки или идут вразрез со свойствами другого. Вообще родственные браки приводят к усилению наследственности и упрочивают проявление признаков родителей, делая их устойчивыми (Т. Юдин).

Несмотря на спорность рассматриваемого вопроса, 14 штатов Сев. Америки запрещают браки между двоюродными, как это было и у нас в царской России, согласно каноническим требованиям православия.

Что касается ограничения эмиграции, диктуемого евгеническими соображениями, то впервые Америка стала на этот путь еще 50 лет тому назад, запретив (в 1875 г.) в'езд в пределы страны преступникам и проституткам. В 1882 г. запрет был распространен на душевнобольных и лиц, не могущих себя прокормить, в 1891 г. на больных заразными болезнями и на алкоголиков. Наконец, уже в новейшее время, в 1917 г. запрещен в'езд в Америку китайцам, а с 1924 г. также и японцам.

В основе подобных мер, рядом с мотивами расовой евгеники и гигиены, не трудно найти, конечно, и мотивы чисто экономического порядка.

Переходя к мерам против размножения нежелательных элементов, приходится на первое место поставить прямое запрещение браков для определенных категорий.

В то же время как в большинстве культурных стран Старого Света запрещение это относится только к душевнобольным и близким родственникам, во многих штатах Север. Америки не допускается также вступление в брак эпилептиков, слабоумных, алкоголиков и венериков. В 12 штатах это запрещение относится и к лицам, являющимся бременем для социальной помощи—другими словами, за бедность закон наказывает лишением права

иметь детей! Наконец, в штате Огайо не разрешается вступать в брак наркоманам (кокаинистам, морфинистам и проч.).

Рядом с ограничениями в праве на брак идет, как естественное дополнение к этой мере, требование от брачущихся медицинского свидетельства о здоровьи, без чего брак не регистрируется. Такой порядок существует, кроме ряда штатов Северной Америки, и в Мексике (с 1922 г.), где, в частности, брачующиеся должны доказать отсутствие у них сифилиса (отрицательный результат реакции крови по Вассерману). В Швеции и Норвегии брачущиеся должны обменяться между собой медицинскими свидетельствами, но регистрирующие брак чиновники не знакомятся с содержанием этих свидетельств. Австрийский законопроект предусматривает запрещение при наличии заразных болезней, или болезней переходящих по наследству.

Представляют ли все эти ограничительные меры евгеническую ценность?

О радикальном их значении не может быть, очевидно, и речи, уже потому, что, в качестве мер чисто отрицательных, они и не претендуют на прямое поднятие уровня расы, а стремятся лишь устранить размножение слабых и вообще дефектных элементов. В ряду же методов отрицательной евгеники за подобными ограничениями нельзя не признать серьезной и плодотворной роли, хотя доказать их полезность статистически покуда невозможно.

Разумеется, полностью такую запретность браков для лиц определенных категорий осуществить невозможно. Если и пренебречь возможностью злоупотреблений со стороны отдельных врачей или регистрирующих чиновников — такие злоупотребленяя, как показывает американская практика, очень редки и их можно не принимать в расчет—то остается более серьезная возможность: лицо, которому по той или иной причине запрещают вступить в законный брак, вступит в тайное, не зарегистрированное половое сожительство и будет, таким образом, невозбранно размножать больное или порочное потомство.

Впрочем, и это соображение некоторые авторы пытаются ослабить указанием на то, что большинство людей все же предпочитает зарегистрированный, признаваемый государством брак, ради доставляемых им социальных удобств и выгод; с другой стороны, незаконные сожительства большей частью бывают недолговечны и дают малое число детей. Во всяком случае, ограничения полезны тем, что побуждают больных лечиться, для того чтобы, выздоровев, получить право на брак, которого они в данное время лишены.

Опасение же о том, что запрещение браков для известных категорий задержит естественный прирост населеня, несущественно, ибо ограничения этого рода охватывают очень небольшой процент населения.

Имеет значение и следующее обстоятельство: покуда эти ограничения существуют лишь в некоторых штатах, их всегда можно обойти, повенчавшись в другом штате, более снисходительном; сколько-нибудь полно они будут проводиться лишь тогда, когда охватят целые страны.

Но самое главное—тут есть спорный пункт и в самом существе вопроса.

Когда ограничивают, в интересах потомства, права личности в столь важной области, как половая любовь, то надо иметь для этого совершенно бесспорные научные основания. Между тем, как мы видели выше, законы наследования даже врожденных признаков (или болезней), а тем более — признаков приобретенных еще далеко не вполне изучены. Есть ли у авторов таких ограничений полная уверенность в том, что в каждом данном случае тяжелая наследственность проявится с железной неизбежностью закона природы?

Когда эпилепсия, или алкоголизм являются врожденным дефектом, то, действительно, можно с большим основанием говорить о больных соках, об испорченной крови, которая почти наверное отравила бы здоровье потомства; но если эпилептические припадки появились в результате травмы (например, на войне) или человек стал алкоголиком под давлением нужды и безработицы?

Мы не говорим уже о том, что было бы дикой жестокостью за эту „вину“ наказывать человека лишением права на брак и семью—но можно ли утверждать, что и в этом случае он рисковал бы, заключив брак, дать больное потомство?

Поскольку на все эти сомнения наука покуда не может дать вполне удовлетворительного ответа, с ограничением в праве на брак следует быть осторожным. Вводить подобные меры необходимо, но в строгом соответствии с теми выводами о наследственности, какими располагает наука.

Это тем более существенно, что в больном и хилом ребенке, который мог бы произойти от неполноценного родителя, быть может, заключались бы, рядом с телесной недостаточностью, богатые духовные силы, которые с избытком компенсируют такую недостаточность.

Третий и самый решительный евгенический метод, применяемый в Америке, имеет целью прямо воспрепятствовать дурным элементам размножаться, лишив их возможности (а не только право) производить потомство. Достигается это оперативным путем (стерилизация, кастрация), или же различными другими приемами, исключающими возможность оплодотворения.

В подавляющем большинстве случаев подобная крутая мера применяется к мужчинам и состоит или в вазектомии по Шарпу („Индианская“ идея), что и носит обычное название стерилизации, или в кастрации, т. е. полном удалении половых желез. У женщин соответствующая вазектомии операция тубэктомии (или сальпингэктомии), в силу сложности анатомических отношений, производится гораздо реже.

Рядом с этим методом существует и целый ряд других, имеющих ту же цель—сделать невозможным оплодотворение женщины. Сюда относится, аналогичная кастрации у мужчин, радикальная операция удаления яичников (овариотомия), рентгенизация их, предложенная в последние годы операция „atmoskausis“, т. е. уничтожение слизистой оболочки матки паром, и др. Некоторое

практическое значение для нашей темы имеет только первая из этих операций, тубэктомия.

Кастрация некогда применялась довольно широко. Так, в древнем Египте кастрировали преступников, а Семирамида кастрировала всех слабых и больных мужчин. Кастрация практиковалась и в истории афинян, и в Риме времен императора Августа, и у некоторых индейских племен. У Галлов кастрировали за воровство, в Византии —за политические преступления, а в Испании кастрации подлежали все осужденные на каторжные работы.

В наше время о таком варварстве,—тем более, в качестве карательной меры —не может быть, разумеется, и речи. Помимо того, что подобная мера противоречит старому юридическому принципу «non bis in idem» она и по существу недопустимо жестока.

Мы теперь хорошо знаем, какое глубокое, поистине всеобъемляющее влияние половым железы, благодаря посылаемых ими в кровь гормонам, имеют на весь организм: на рост и развитие вторичных половых признаков, на согласованность функций отдельных органов и частей тела на весь „тонус" (общий строй) организма, на его свежесть и крепость—достаточно вспомнить хотя бы роль половых гормонов, как она выяснилась из известных опытов Штейнаха и Воронова по омоложению.

Впрочем, отдельные случаи удаления половых желез (кастрации) в отношении неизлечимых слабоумных, имели место в Америке и в сравнительно недавнее время. Так, в штате Канзас в одном убежище для слабоумных еще в конце прошлого века было кастрировано 44 мальчика и 14 девочек. Но в последние 20—25 лет эта операция целиком вытеснена несравненно более мягким вмешательством, а именно, стерилизацией.

При стерилизации половые железы отнюдь не удаляются, а только перевязывается с обеих сторон—иногда и перерывается также— семявыносящий проток, чем устраняется возможность проникновения семени в половые органы женщины. Способность к половой жизни при этом, конечно, сохраняется полностью.

В данном случае операция гораздо менее серьезна и опасна, чем при удалении половых желез. Еще важнее то обстоятельство, что организм оперируемого не лишается половых гормонов и следовательно, общее состояние его здоровья и вообще уровень организма не страдают. Не вдаваясь в технические подробности метода стерилизации, скажем только, что мы здесь имеем дело, в сущности, с той же операцией, как и в опытах Штейнаха по омоложению, но предпринимаемой, разумеется с совершенно иной целью.

Инициатор и самый пламенный защитник евгенической стерилизации, индианский врач Шарп чрезвычайно доволен ее результатами. Сама по себе операция перевязки легка, безболезненна и продолжается не более трех минут; по выражению одного из защитников „индианской идеи", вазектомия вообще не более серьезна или опасна, чем удаление зуба. В отношении же результатов Шарп и некоторые другие авторы утверждают, что вазектомия не только не влечет за собой никаких вредных последствий, но даже, наоборот, улучшает самочувствие оперированного, усиливает его бодрость и крепость.

Стерилизация по Шарпу имеет уже довольно большой опыт: с 1899 по 1907 г. Шарп подверг стерилизации 176 преступников и душевнобольных, а в 1907 г. в штате Индиана был введен даже особый закон о стерилизации слабоумных, идиотов и осужденных за изнасилование, причем для производства операции требуется постановление суда, на основании заключения особой комиссии из врачей-специалистов.

В дальнейшем аналогичные законы были приняты также в Калифорнии, Кентуки и целом ряде других штатов. Поводы для производства вазектомии в разных штатах были разные; так, в некоторых штатах ей подвергались сифилитики, проститутки, бродяги и даже—лица, находящиеся или находившиеся ранее на общественном иждивении: в этом последнем пункте мы снова, кстати сказать, встречаем ярко выраженную классовую струю, многочисленные примеры которой мы уже видели выше.

Мы не будем детально разбираться в деталях американского законодательства и практики в этом вопросе— то и другое чрезвычайно разнообразно. Достаточно будет привести итоговые цифры стерилизации — цифры, охватывающие, впрочем, лишь один период времени и потому далеко не полные: всего в Соединенных Штатах (особенно в Индиане и Калифорнии) было за первый период подвергнуто стерилизации больше 1000 человек, в том числе около двухсот женщин.**) Ниже мы увидим и полный цифровой итог.

Чтобы не возвращаться больше к практике стерилизации, отметим здесь же, что в Европе не рискуют прибегать к этому смелому американскому методу; отношение к идее стерилизации у большинства евгенистов, юристов и законодателей Европы было до самых последних лет резко отрицательное. Исключение в этом смысле составляет Швейцария, где в 1908 — 1909 г. г. стерилизации (а в некоторых случаях кастрации) было подвергнуто 19 слабоумных, в том числе 15 женщин. Поводом к операции в некоторых из этих случаев послужило то, что слабоумные женщины, повторно становясь беременными, тотчас после рождения ребенка убивали его.**) Несколько случаев стерилизации душевнобольных имели место в самые последние годы и в Германии (в Цвикау).

Уже на самой родине „индианской идеи“ метод стерилизации в значительной части населения встречает

**) Здесь будет уместно указать, что у женщины, операция перевязки протока, аналогичная вазектомии, как уже отмечалось, анатомически невозможна, а тубэктомия, т. е. перевязка фаллопиевых труб, редко производится через влагалище, обычно же требует вскрытия брюшной полости, что связано, как и всякая операция в брюшной полости, с значительными трудностями и опасностями.

В то время как после вазектомии оперированный уже через 2—3 дня встает и может считаться здоровым, женщина после тубэктомии должна оставаться в постели 10—14 дней.

**) См. „Kastration und sterilisation von geisteskranken in der Schweiz“, v. G. Oberholzer. „Die Nordamerie gesetze g. die Vererbung von Verbrechen und Geistesstörung“, v. H. Mair—Halle, 1911.

все более резкое несогласие и осуждение, так что соответственные законы под давлением общественного мнения фактически применяются все реже и реже или вовсе остаются на бумаге. Если, с одной стороны, крупная „Американская Ассоциация Разведения" («American Breeders Association)"выработала даже целую стерилизационную программу на длинный ряд лет вперед, то рядом с этим в штате Индиана, в самом центре стерилизации, пришлось даже запретить дискуссию о ней в печати.

Впрочем, в самые последние годы законы о евгенической стерилизации снова начинают приниматься в отдельных штатах. Так, в штате Орегона, где принятый в 1917 г. закон о стерилизации был отменен путем референдума, в 1923 г. был принят новый закон по этому вопросу. В том же 1923 г. подобный закон был принят и в штате Монтана; здесь дело было вверено особому евгеническому совету, причем постановления совета о разрешении стерилизации окончательны и обжалованию не подлежат.

В штате Делавар подобный же закон, тоже от 1923 г., вводит евгеническую стерилизацию под условием единогласного решения специальной комиссии и с утверждения местного отдела социального обеспечения. Не менее как за месяц до операции о ней сообщается супругу, опекуну или родителям, и этим лицам предоставляется обжаловать постановление в суд.

Аналогичные законы изданы в 1924 г. штатами Нью-Джерси и Виргиния. В первом из этих штатов, где стерилизация, впервые введенная законом 1911 г., была затем отменена, как мера неконституционная, таковая теперь введена по отношению к лицам, которые „страдают хроническими душевными болезнями и могут передать эти дефекты своему потомству", а также к привычным преступникам, являющимся умственно-дефективными.

Это возрождение идеи стерилизации в Америке об'ясняется, конечно, значительным ростом дефективности—и прежде всего, дефективности психической—в Америке последних лет. По данным переписи 1923 г., в Соединен-

ных штатах число психически дефективных равно 348.486, и это не считая еще тех психически дефективных, которые содержатся в тюрьмах, учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей и в работных домах, а также лиц, находящихся на попечении у своих родственников и близких. Вдобавок, в больницы ежегодно поступает больше 50.0000 новых психических больных.

На содержание психических больных расходуется ежегодно 75 миллионов долларов, так что в некоторых штатах расходы на их призрение и лечение стоят на втором месте, уступая только расходам на народное образование. Общий же экономический ущерб для страны от одной только формы душевных болезней, юношеского слабоумия, достигает в год 200 миллионов долларов. (П. И. Люблинский).

Напротив, в Европе отношение к идее стерилизации продолжает оставаться сдержанным и в самые последние годы. Если знаменитый швейцарский психиатр Август Форель и германские врачи криминалисты Гентиг, Денов и др. являются горячими сторонниками этой меры, то Германское Общество Расовой гигиены в своей программе 1922 г. признает, что для принудительной стерилизации психически-дефективных время еще не пришло, впрочем узаконение стерилизации с согласия пациента оно признает желательным уже теперь. В таком же смысле высказывается и Институт расовой биологии в Швеции.

Возражения против вазектомии выставляются самые разнообразные. Клерикалы возражают от имени священного писания: „плодитесь и множитесь“ – это заповедь самого бога и потому вмешиваться в размножение, а тем более, делать его невозможным нечестиво и безнравственно. Более серьезно указание, что стерилизация грубо нарушает права личности, обеспеченные конституцией *) всем гражданам; особенно же недопустимо превращать стерилизацию в акт возмездия как это имеет место в некоторых штатах.

*) Именно как меру, противоречащую конституции, ее и отменили впоследствии в некоторых штатах.

Наконец, наиболее существенно возражение о том, что тяжесть подобного вмешательства отнюдь не возмещается здесь пользой для общества. Стерилизация, совершаемая добровольно—если человек сам боится за то потомство, какое он мог бы дать, и просит лишить его возможности размножения—это дело другое; равным образом нельзя возражать и против насильственной стерилизации идиотов, призреваемых в убежищах: в одном Штате Сев. Америки даже додумались до проекта убивать всех вообще психически больных, проведших больше двух лет в больнице!

Но, говоря вообще, стерилизация обещает впереди очень мало, ибо она не способна дать человечеству благоприятных наследственных зачатков. Поэтому, хотя принципиально против стерилизации возражать нельзя—государство так же в праве бороться с патологической конституцией данного гражданина, как оно борется с передачей эпидемических и иных заразных болезней—суть в том, что эта мера не только слабо обоснована научно, но и практически обещает мало.

Кроме того, как правильно указывает Ю. А. Филипченко, нельзя право на брак отождествлять с правом на создание потомства. Если, скажем, жених и невеста страдают тяжелым туберкулезом, то добра от их потомства, конечно, ожидать нельзя, и потому вступление в брак им воспрещается. Но, если они потомства не оставят, то кому, в конце концов, повредил бы их союз?

Каждый человек имеет право на личную любовь и радости, но не каждый имеет право дать жизнь другому существу; поэтому во многих случаях, аналогичных приведенному только-что, главное внимание надо направить не на запрещение браков, а на усовершенствование противузачаточных средств.

Один из виднейших американских евгенистов нашего времени, Лафлин, подводя цифровой—видимо, полный—итог до сих пор проведенных случаев стерилизации, делает на этом основании вывод о весьма скромном практическом значении этой меры. По данным этого ав-

тора, всего с 1907 по 1921 г, в Америке было произведено 3233 стерилизации, из них 1380 над женщинами; в том числе было 72 кастрации и 100 овариотомий (удаления яичников). Среди об'ектов стерилизации насчитывается, между прочим, 2.700 душевно-больных (самая большая группа) 430 лиц с врожденным слабоумием, 130 проституток и т. д.

Вывод, к которому приходит Лафлин, таков: для того, чтобы стерилизация дала ощутительные, в евгеническом смысле, результаты, Америка должна ежегодно стерилизовать не менее 400.000 чел. - задача явно неразрешимая. Надеяться, что после стерилизации всех преступников, в Америке будут только честные и зажиточные люди, по его мнению, наивно. Таким образом, от стерилизации Лафлин не ждет не только прямого повышения уровня расы: она не в силах и уменьшить рождение слабого и порочного потомства.

Но в рассматриваемой проблеме есть и другая, не менее важная сторона.

Несомненно, права личности в обществе ограничены интересами этого общества и ради этих последних вполне допустимо даже столь резкое вмешательство, как лишение человека счастья отцовской (или материнской) любви. Но, как мы уже не раз указывали по разным поводам выше, нарушение прав личности должно быть строго обосновано научными данными.

Между тем, и здесь приходится отметить, во-первых, что учение о наследственности, особенно в отношении приобретенных свойств или признаков, еще недостаточно разработано, и во-вторых, что значительная часть тех пороков и болезней, которые дают повод к операции,—результат несправедливого общественного строя, уродливой социальной среды. Делать отдельного несчастного виновником и козлом отпущения за эти уродства—конечно, недопустимо. „Стерилизации"—или, вернее, полному уничтожению—подлежат, прежде всего, те уродливые общественные условия, которые приводят к слабоумию или проституции, а не их беспомощная жертва.

Мы не хотим этим сказать, что метод стерилизации должен быть вовсе отвергнут—наоборот, в известных, строго ограниченных пределах он, отнюдь не являясь радикальной евгенической мерой, все же вполне правилен, приемлем и даже неизбежен, но при этом нельзя забывать об относительности наших медицинских знаний, нашей врачебной науки.

Можем ли мы сказать с уверенностью, что у алкоголика, например, или душевно больного отравлена та субстанция половых клеток, которая носит в себе гены? Нет, это только более или менее вероятное и обоснованное предположение. А в таком случае, в основе мер, лишающих такие элементы возможности дать потомство, может лежать только наше признание данной болезни неизлечимой.

Между тем, понятие о неизлечимости чрезвычайно относительно и притом носит очень временный характер. Целый ряд болезней, перед которыми прежняя медицина опускала в бессилии руки, теперь, с прогрессом медицинской науки, поддаются полному излечению. Если сегодня мы очень плохо умеем излечивать, скажем, хронический алкоголизм или наркоманию, то, может быть, завтра появится новый метод лечения, новая сыворотка, которые будут наверняка исцелять эти недуги.

И в тот момент, когда суд, основываясь на заключении вполне компетентной, предположим, врачебной комиссии, приговорит человека к лишению способности размножения, источника великих радостей и счастья отцовства (или материнства)—в этот момент где-нибудь на другом конце земли, в лаборатории или в клинике родился, может быть новый, более совершенный метод лечения, который еще не дошел до ушей комиссии.

Кроме того, в медицине очень многое, как известно, зависит от таланта и искусства именно данного врача, вообще от его индивидуальных свойств: та болезнь, перед которой один врач пасует, вполне поддается усилиям другого врача, более искусного, более смелого или даже просто более опытного.

Особенно временный характер имеет понятие неизлечимости в отношении к душевным болезням—и здесь об этой „временности" особенно важно не забывать. Если в старых идеях Ломброзо о „гениальности и помешательстве" много преувеличений и слишком категорических выводов, то в своей основе его положение о тесной близости между гениальностью и душевной болезнью бесспорно; примеры такой близости, помимо уже приведенных нами выше, известны каждому.

В настоящее время наши ресурсы в деле лечения психических болезней, правда, более чем скромны, и содержание больных в психиатрических лечебницах сводится, главным образом, к их призрению. Не только у нас, но и в богатых странах, каковы Англия и Америка, подавляющее большинство слабоумных, идиотов и вообще душевно-больных находится на свободе, из-за недостатка мест в лечебницах и значит, лишено призрения и ухода, а вместе с тем невозбранно плодит детей, часто больных и порочных.

Все это бесспорно и все это глубоко печально, как серьезная угроза уровню будущих поколений. Но, оценивая это положение вещей, мы как бы безмолвно подразумеваем, что все эти категории больных в большей или меньшей мере неизлечимы.

Между тем, именно теперь шансы на значительные успехи психиатрии резко возрасли—укажем хотя бы на приложение к психиатрии учения И. П. Павлова об условных рефлексах, на методы психоанализа, на опыты протеинотерапии в лечении психозов, на удачные попытки прививки сыпного тифа и малярии для лечения прогрессивного паралича.

Больше же всего современная психиатрия, на наш взгяд, может ожидать от столь расцветшего в последние 10—15 лет и столь упрочившегося учения о внутренней секреции организма. Очень обнадеживающим в этом отношении фактом является произведенный (кажется, в 1917 г.) блестящий опыт полного исцеления С. Вороновым в Париже подростка-кретина: умственное развитие больного,

казавшееся безнадежным, настолько шагнуло вперед, что через несколько лет он стал вполне работоспособным юношей. Он самостоятельно выполняет служебные обязанности и даже был признан годным к военной службе. Позднее с помощью пересадки щитовидной железы С Воронов достиг полного излечения и еще в нескольких случаях кретинизма.

Так как внутрисекреторный аппарат находится в самой тесной связи с центральной нервной системой (или даже прямо составляет часть ее), то в области внутренней секреции мы можем расчитывать найти верные методы для борьбы со многими душевными болезнями, именно, с теми, которые обусловливаются недостаточной или вообще неправильной функцией этого аппарата.

Покуда наука находится лишь в начале этого пути, но уже теперь можно с удовлетворением констатировать, что нашей беспомощности в лечении душевных болезней приходит конец.

В область еще более произвольных оценок мы вступаем, когда речь идет уже не о больных, а о преступниках, как о носителях нежелательных наследственных задатков. Понятие о преступности с переменой градусов долготы и широты, как известно, резко меняется; не менее резко меняется оно и во времени.

Этой относительностью страдает даже понятие об уголовном преступлении; в еще гораздо большей мере она свойственна так называемым политическим преступлениям. Террористические акты, за которые царское правительство вешало и ссылало на каторгу—ныне, в послеоктябрьской России, признаются актами героизма, подвигами революции; фабрикант, с советской точки зрения, богатеющий за счет своих рабочих, в буржуазной Франции признается полезным членом общества и даже его опорой.

Правда, вазектомия не есть мера окончательная, непоправимая: как указывает и сам Шарп, впоследствии, если бы это почему нибудь понадобилось, можно с помощью новой операции — тоже очень легкой и безопас-

ной—вернуть проводимость семявыносящему протоку и этим возвратить человеку способность иметь детей. Напротив, кастрация и в этом отношении—акт гораздо более ответственный, так как при ней человек лишается этой способности навсегда.

В отношении к преступникам непоправимый характер ущерба, наносимого кастрацией, невыгоден и с точки зрения целей уголовно-карательной политики, ибо этим уничтожается благотворный в воспитательном смысле фактор: у заключенного в тюрьму преступника отнимается надежда впоследствии, по выходе на свободу, познать личное счастье и основать свою семью в кругу честных людей.

Вазектомия, повторяем, свободна от такой непоправимости, но все-же и ее нельзя не признать в отношении к личности шагом ответственным и серьезным.

Вывод наш здесь, как и в вопросе о запрещении браков известным категориям лиц, все-же вовсе не против вмешательства государства вообще: приведенными соображениями мы хотели только подчеркнуть, как опасно было бы опрометчивое и слишком широкое применение вазектомии и как скромен, в конце концов, истинный удельный вес этой меры на весах повышения уровня расы.

Особая осторожность нужна, естественно, в определении того списка болезней или вообще пороков, которые уполномочивают к производству операции.

Если в отношении душевнобольных (слабоумных, кретинов и т. д.) право государства на такое вмешательство едва-ли, говоря вообще, может быть оспариваемо: это неизбежная мера социальной самозащиты, как мерой самозащиты является и насильственная изоляция чумного больного, холерного или прокаженного.—то вопрос о преступниках гораздо сложнее. Кого, в сущности, можно назвать „закоренелым" преступником? Даже среди преступников-рецидивистов далеко не все заслуживают такой оценки. Или какой бродяга, какая проститутка, действительно, должны быть признаны „неисправимым"?

Что же касается кастрации, то и по жестокости самой операции, к тому же совершенно непоправимой, и по размеру вмешательства в личную жизнь и, главное, по ее крайне вредному влиянию на все стороны жизни жертвы она должна быть отвергнута целиком и для всех случаев.

Стерилизация—далеко не единственная мера, выдвигаемая в последнее десятилетие в целях борьбы со страшным призраком вырождения, вставшим перед Европой. Годы войны и последовавшее за ними обнищание масс привели к тому, что даже в сравнительно благополучных странах, как Англия и Америка, на сцену выступают все новые и новые проекты, касающиеся этой области.

Так, видные американские авторитеты, Мак и Грегори выдвинули в последние годы, вместо стерилизации по Шарпу, систему „сеггрегации" (или „аггрегации"). По их мысли, преступники и вообще наследственно отягощенные элементы должны насильственно помещаться в особые колонии на изолированных островах, мужчины отдельно от женщин; тем и другим должна быть предоставлена возможность спокойной жизни и труда, но с единственным лишением—именно, с отсутствием лиц другого пола и, значит, с невозможностью размножаться. В одном из штатов этой мере проектировали подвергать даже всех больных венерическими болезнями!

Впрочем, изумительный проект американцев не нов: еще до войны (в 1912 г.) на евгеническом конгрессе в Лондоне был выдвинут Ван-Вагененом аналогичный проект „сеггрегации". Наконец, корни этого проекта заходят еще дальше: аналогичную меру, но в еще более суровой форме, рекомендовал некогда отец учения о евгенике, Фр. Гальтон, который требовал длительного содержания закоренелых преступников в тюрьмах, с целью отнять у них возможность производить потомство.

О проекте Гальтона сейчас не может быть, конечно, и речи: помимо жестокости такого наказания, оно еще идет прямо вразрез с исправительно-воспитательными за-

дачами, какие ставит себе современная уголовно-карательная политика. Что же касается „сеггрегации" Ван-Вагенена и названных американцев, то и она должна быть совершенно отвергнута как по морально-правовым соображениям, так, особенно, по своей громоздкости, сложности и дороговизне,—словом, по причине практической неосуществимости.

От мер, ограничивающих или запрещающих браки в целях борьбы с наследственной отягощенностью, мы должны теперь перейти к мерам борьбы с самыми носителями нежелательных наследственных свойств.

В этом отношении теория — правда, *только* теория — последних лет евгеники дает нам образцы проектов, поистине чудовищных. Тем же духом, что и „сеггрегация", проникнуто, например, предложение итальянского психиатра, проф. Морзелли о легализации самоубийств. Об ограничении в правах или, тем более, о наказаниях за покушение на самоубийство, как это имело место в царской России (церковное покаяние, лишение самоубийц церковного погребения), в наши дни нельзя, конечно, говорить серьезно—на эту тему читатель найдет много правильных замечаний в „Праве на убийство" Эв. Мельцера—но Морзелли заходит в данном вопросе гораздо дальше.

По его мнению, уходят от жизни, прибегая к самоубийству, только дефективные натуры, и потому самоубийство—весьма ценный положительный фактор в смысле расового отбора. Из этого Морзелли делает такой вывод: государство не только не должно бороться с самоубийствами, но даже наоборот, должно рекомендовать лицам, имеющим к тому склонность, „не откладывать своих намерений в долгий ящик"....

В сущности, то, что рекомендует Морзелли — это настоящее подстрекательство к самоубийству; у того же Мельцера подобный акт, после тщательного анализа, подвергнут вполне заслуженному осуждению.

Только-что, в момент, когда пишутся эти строки, в Москве опустили в землю тело юного самоубийцы, выдающегося поэта С. Есенина; в уродливом представлении

ученого итальянца, понесенная нами утрата только полезна для общества, и друзьям поэта, если бы они знали о его намерении раньше, следовало поторопить его—может быть, даже „дружески" принести ему веревку...

Другой видный ученый даже выступил (на Лондонском евгеническом конгрессе 1920 г.) с докладом о том, что следует отказаться от лечения больных и хилых детей, лежащих бременем на шее у государства. Наши заботы о них искусственно поддерживают то, что обречено на гибель; интересы расы и будущих поколений требуют, чтобы мы предоставили эти нежизнеспособные элементы их собственной участи: пусть выживают только сильнейшие.

Ученый евгенист наших дней, таким образом, буквально возвращается к государственной „мудрости" древней Спарты, где слабых и хилых новорожденных попросту сбрасывали со скалы. Вся дикость и неприемлемость подобных предложений удачно вскрывается в изложении Мельцера; к его соображениям мы прибавим только замечание покойного Б. И. Словцова о том, что подобная мера, помимо всего прочего, еще и крайне нецелесообразна*).

Известен рассказ о спартанском ребенке, случайно спасенном от „евгенического" сбрасывания со скалы: впоследствии он стал крепким, сильным юношей и даже был победителем на олимпийских играх.

Следующей по своей решительности мерой является недавно выдвинутый проект „евтаназии": рекомендуется безболезненно прекращать дальнейшее существование всех безнадежных идиотов, душевно больных и слабоумных, применяя соответственные яды—наркотики, окись углерода и т. д. (упомянутые выше Мак, Грегори и мн. др.). Наконец, крайний предел проекта в этой области составляет легализация прямого убийства, физического уничтожения неполноценных элементов, причем целью является уже не только борьба с их наследствен-

*) „Улучшение расы". Ленинград, 1923.

ной отягощенностью, но и стремление прекратить страдания больных, которых все равно вылечить невозможно. Кроме того, имеется ввиду избавить таким путем общество от непроизводительной затраты материальных средств и энергии на явно безнадежное в этих случаях дело призрения и лечения.

Такое прямое убийство составляет основную тему труда Мельцера и на оценке этого рода проектов мы остановимся ниже, теперь же перейдем к другой группе евгенических методов, а именно, к тем, которые носят положительный характер.

К человеческому обществу прямое скрещивание, насильственная „случка" желательных особей, как мы уже указывали, не приложима; однако, в истории евгеники, и даже сравнительно новой, подобные скотоводческие опыты имели место.

Так, японцы вскоре после русско-японской войны, обнаружившей невыгоду низкого роста японских солдат, произвели настоящий опыт „антропотехники" (человеководства). С целью использовать более высокий рост корейской расы, Япония разместила 100 крупных корейских солдат в японских фанзах с населением до 400 женщин и обязала этих последних всячески обслуживать корейцев. В результате, действительно, появилось несколько сот японцев, превышающих средний японский рост.

Отметим кстати, из истории этой характерной попытки, что при этом была организована также продажа корейских женщин „на племя", причем последние продавались на вес; в среднем на русские деньги крупная корейская женщина обходилась в 10 руб. Такой взгляд на человека, как на иоркширскую свинью или на лошадь-тяжеловоза, конечно, вполне соответствует империалистическим стремлениям государства, для которого человек—это, прежде всего, солдат, мясо для пушек.

Подобный же опыт имеется и в истории России: Екатерина II, заботясь о приплоде любезных ее сердцу высоких, статных гренадер, расселяла их насильственно по русским деревням, чтобы таким путем обеспечить свой двор рослыми телохранителями, а также и фаворитами. Аналогичные приемы применяли у нас в крепостное время и многие помещики.

Наконец, сюда же можно отнести практиковавшиеся при разных дворах, в том числе и при русском, насильственные браки между карликами и карлицами, придворными шутами; эти последние браки, кстати сказать, оставались всегда бесплодными или приводили к выкидышам.

К прямому скрещиванию близки—хотя и гораздо более культурны по форме—попытки создания настоящих евгенических общин, имевшие место, как это и можно было бы угадать, в решительной и эксцентричной Америке. Такова, например, община „Oneida" (в штате Нью-Йорк), в составе 300 человек, просуществовавшая целых 40 лет, с 1841 по 1881 год: члены этой общины вступали в брак только по выбору и с одобрения коммуны. Аналогичные евгенические задачи преследует школа „Американских сверхженщин" в Пенсильвании, существующая и доныне: в школе воспитывается 20 самых здоровых и красивых девушек от 11 до 20 лет.

Сами по себе подобные попытки рационального размножения могут приносить только пользу, но удельный вес этой пользы крайне незначителен, поскольку вокруг подобных общин, школ и возникающих в последние годы кое-где „Организаций здоровых" остаются в силе те общие социально-экономические условия, тот капиталистический строй, который ведет к какогеническим бракам и к вырождению.

К законодательным мерам положительной евгеники относятся поощрительные премии за детей; кроме Франции, в которой, как мы уже знаем, такое премирование введено было еще до войны, а в последние годы, под влиянием все более растущего падения рождаемости,

создан даже специальный орган борьбы, „Высший Совет по рождаемости"—на путь премирования стала теперь и Новая Зеландия.

В Америке, а также во Франции, возбужден вопрос об обложении бездетных в пользу призрения детей; в тех же целях в разных странах практикуется и обложение холостяков особым налогом. Подобный проект возник и у нас в СССР, но был—вполне справедливо—отвергнут, как мера преждевременная и несоответствующая сравнительно высокому уровню нашей рождаемости.

К мерам того же порядка относятся пропаганда размножения, преследование абортов и запрещение противозачаточных средств; в этом направлении особенно энергична и даже, вернее, упряма вымирающая Франция. Помимо того, что борьба с абортами или противозачаточными средствами путем репрессий не приводит, как показывает опыт, к цели—евгеника заинтересована не столько в количественном приросте населения, сколько в качественном улучшении породы.

Далее, в числе евгенических мер—правда, отрицательного, предупредительного свойства—известное практическое значение уже приобрело, как мы видели, регулирование здоровья вступающих в брак: обязательные медицинские осмотры, обмен медицинскими свидетельствами и взаимное ознакомление будущих супругов о состоянии их здоровья. Сюда же по своим последствиям —хотя и не по целям—примыкает и изоляция некоторых какогенических групп для лечения (больных в больницах) или в виде наказания (преступников в тюрьмах), поскольку изоляция временно лишает эти группы возможности размножаться.

Напротив, часто положительный характер носят и имеют ценное евгеническое значение такие меры, как всесторонняя охрана материнства и младенчества, социальная поддержка многодетных (пособие на 3-го, 4-го ребенка), борьба с венеризмом, рациональное воспитание детей, борьба с профессиональными вредностями, отражающимися на воспроизводительных органах (напр., работа

со свинцом), создание брачных консультационных бюро и наконец, введение „личных листков"—, наследственно-биологических паспортов.

Эта последняя мера, чисто подготовительная, но представляющая огромную важность и для теоретического изучения, и как фундамент для прикладной евгеники, в первую очередь должна быть введена во всех лечебных учреждениях: в „личный листок" каждого больного должны заноситься подробные, по возможности, данные о перенесенных ранее болезнях; о наследственности, о количестве детей и их здоровьи, о течении беременности, о выкидышах и т. д. Необходимым дополнением к „личным листкам" являются и широкие анкетные обследования—например, в учебных заведениях, на предприятиях и т. д.

Скажем еще несколько слов о евгенике в России.

Первое по времени евгеническое требование—правда, чисто декларативное—восходит в России еще к Петру Великому, у которого М. В. Волоцким найден закон с явно евгенической мотивировкой: в изданном (в 1722 г.) законе „О свидетельствовании дураков в Сенате" необходимость закона Петр мотивирует тем, что „от браков с дураками доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно". Здесь—определенная попытка запрещения брака известной, нежелательной в наследственном смысле группе „дураков", т. е. слабоумных.

Каких-либо практических мер, вроде стерилизации или кастрации, наше законодательство никогда не знало и не знает, ограничение же брака для душевно-больных, а также для кровных и вообще близких родственников, у нас существует уже давно. Степень родства, при котором брак не разрешается, в царской России,как мы уже упоминали, оценивалась очень широко, в настоящее же время запретными, согласно, ст. 69 Уголовного Кодекса, являются только браки между родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии (отца с дочерью, матери с сыном) и между полнокровными и неполнокровными братьями и сестрами.

Что до душевно-больных, то их вступление в брак не допускается по силе ст. 67 Кодекса, согласно которому лицо, вступающее в брак, должно быть, „в здравом уме"; нельзя не согласиться, кстати сказать, с А. Н. Сысиным*), что эта формулировка в законе устарела и является неудачной.

Попытки ограничения брака для известных категорий больных делались у нас неоднократно; так, в 1872 г. было воспрещено вступление в брак прокаженным—впрочем, это воспрещение уже очень скоро было отменено. Любопытно предложение д-ра Рейтца, сделанное им в известной „Боткинской" комиссии 1886 — 1888 г. г. по борьбе со смертностью в России: Рейтц предлагал всем, освобождаемым от военной службы из-за чахотки или сифилиса в заразительной форме, делать на паспорте пометку, что данное лицо не вправе вступать в брак „до врачебного удостоверения о том, что его здоровье уже не представляет опасностей для передчи тех же болезней жене или потомству". **)

Что касается ограждения здоровья вступающих в брак, то вопрос об этом был поднят Наркомздравом еще в 1923 г... От требования медицинских осмотров брачущихся и от обмена их медицинскими свидетельствами решено временно, ввиду малого количества у нас врачей и слабого культурного развития масс, отказаться; вместо этого у нас вводится обязательное „взаимное ознакомление" будущим супругов о состоянии их здоровья.

Но даже обязательные медицинские осмотры, как мы видели, далеко не радикально решают проблему улучшения расы; шведский и норвежский порядок, когда регистрирующие органы не знакомятся с содержанием тех медицинских свидетельств, которыми обмениваются брачущиеся, еще менее совершенен и имеет преимущественно санитарно-просветительное значение. Наконец, ввo-

*) А. Н. Сысин—„Первые шаги евгенического законодательства в России" сборник „Соц. гигиена", вып. 3—4. М. 1924.
**) Ibidem.

димая у нас система „взаимного ознакомления", даже без обязательного обмена медицинскими свидетельствами, очевидно, еще менее ограждает здоровье вступающих в брак и значит, играет еще более скромную евгеническую роль.

Впрочем, известную пользу, особенно в смысле санитарного просвещения масс, имеет, несомненно, и эта мера. Прибавим, что взаимное осведомление, согласно декрету, должно идти в направлении осведомления о душевных болезнях, венерических болезнях и активном тубекулезе.

Интересно, что, по данным А. Н. Сысина, у нас в массах растет сознание необходимости конкретных защитных мероприятий, и „медицинский осмотр намечается как мера, отнюдь не навязываемая свыше". Соответственные постановления крестьянских обществ имели место в Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Местами, как например, в г. Усолье Пермской губ. и в г. Кузнецке, Саратовской губ., даже были случаи требования медицинских свидетельств при вступлении в брак.

Говоря о нашем евгеническом законодательстве в области брака, нельзя не упомянуть и о минимальной возрастной норме для брачущихся.

В проекте нового брачного закона, вызвавшего столь оживленные и страстные прения на последней сессии ЦИК'а и отложенного затем для детального обсуждения на местах, в качестве такой возрастной нормы намечается 18 лет для мужчины и 16 лет для женщины, причем в в известных случаях даже разрешается вступление в брак за полгода до наступления этого возраста.

Этот пункт проекта—в печати, по крайней мере—почти не освещается, тогда как он с разных точек зрения, в том числе и в смысле евгеническом, имеет огромное значение. В глазах евгениста, как и социал-гигиениста вообще, и тот и другой минимальный возраст является недопустимо низким: легализация браков 18-летних юношей и 16-летних девушек-подростков (о „льготном" полугодии мы уже не говорим) является серьезной угрозой вырождения масс и слабости потомства.

Минимальным возрастом для брака должен считаться тот, когда половое созревание и вообще физическое формирование организма закончено; поэтому евгенист может мириться с вступлением в брак мужчины не моложе 20 и женщины не моложе 18 лет. При более ранних браках серьезному риску подвергается как здоровье юных супругов, так и уровень здоровья их потомства.

Наша вводная статья к книге Эв. Мельцера чрезмерно разрослась, а между тем, собственно об этой книге и о ее проблеме мы еще почти не упоминали. Сейчас мы к ней перейдем, но предварительно укажем вкратце, какие именно причины придают в настоящее время проблемам евгеники такую исключительную актуальность и остроту. Ибо именно исключительные обстоятельства и условия об'ясняют (и даже делают неизбежным) появление в последние годы таких резких и необычных проектов, как рассмотренные нами выше и как легализация убийств, о которой трактует Мельцер.

До прошлого века, когда народное хозяйство в странах Европы нуждалось в рабочей силе, законодательство повсюду поощряло браки—путем налоговых и других льгот, премий за плодовитость и т. д.—с одной стороны, путем дополнительных налогов с холостых—с другой. В 19-ом веке, с изобретением паровой машины и применением механической силы в производстве, число нужных для промышленности рабочих рук сократилось (вначале)—отсюда теория Мальтуса об избыточной рождаемости и о необходимости ограничивать ее в интересах борьбы с нищетой и безработицей. В законодательстве этот процесс сказался в ограничительных брачных нормах. Иногда, как мы это видим в Баварии в начале 19-го века, подобные ограничения имели целью борьбу не с нищетой или безработицей, а с революционными стремлениями масс (Ю. А. Филипченко).

Упомянутые ограничения в праве на брак чаще всего состояли в требовании от брачущихся оседлости и ми-

нимума материальной обеспеченности; иногда требовалось также отсутствие у супругов преступного прошлого.

Чем ближе мы подходим к нашему времени, тем заметнее становится убыль рождаемости в большинстве культурных стран, которая во Франции, например, принимает размеры катастрофы, настоящего национального бедствия. Это уменьшение рождаемости обусловлено рядом тяжелых социальных уродств, каковы: невероятный рост абортов и пользование противозачаточными средствами, детоубийства и пр.; рядом с этим в некоторых странах, в том числе и в нашей стране, наблюдается чрезвычайно высокая детская смертность. Годы войны еще обострили и усилили все эти явления.

Огромное значение плодовитости в деле подбора не требует доказательств; арифметически оно иллюстрируется тем, как отражается в будущем даже небольшая разница числа детей в семье. Возьмем две группы населения, равные по количеству семей; предположим, что в каждой семье первой группы, в среднем, трое детей, а во второй—четверо. Даже при столь небольшой разнице плодовитости первая группа через 100 лет, как показывает расчет, резко понизится в своей численности по сравнению со второй: их численность будет относиться одна к другой уже не как 50:50, а как 28:72. Через 300 лет это отношение будет уже выражаться 7:93, т. е. первая группа будет вытеснена второй и почти исчезнет (Ив. Канаев—„Наследственность и изменяемость"). Следовательно, для того чтобы население не убывало, в семье должно быть не менее 3 детей.

Отсюда понятно, что состав общества в значительной степени зависит от того, какие именно слои населения размножаются сильнее и какие отстают в приросте. Тот факт, что высшие, отчасти и средние классы, вымирают и за их счет все сильнее размножается пролетариат, именно и питает те грустные выводы идеологов буржуазной евгеники, какие были приведены в начале нашего очерка. Именно усиленное размножение „низших" слоев и подразумевает американский евгенист Рост, когда он

образно говорит: „Не гордый орел, не хищный ястреб, а аист—вот главный враг цивилизации".

Рассуждать таким образом, делать столь печальные предсказания можно только с точки зрения сегодняшнего, капиталистического устройства общества. В действительности же, индивидуальному вымиранию противостоит неисчерпаемый запас наследственных сил и свойств в массах.

Но самый факт повсеместного и систематического падения рождаемости, по крайней мере среди населения городов, бесспорен и очевиден; бояться „аиста", т. е. перенаселения, имеют основание разве только небольшие, густо населенные страны, вроде Бельгии или мировые, чудовищно уплотненные столицы, как Нью-Иорк и Лондон. Страхи Мальтуса перед нищетой, грозящей человечеству из-за избытка народонаселения, были ошибочны, поскольку он не предвидел и не принимал в расчет колоссального развития техники, значительных пространств земли и огромных природных богатств, не только еще не используемых, но отчасти даже и неведомых еще людям.

Не избытка народонаселения, а наоборот понижения рождаемости—вот чего следует бояться, вот с чем необходимо вести борьбу.

Чем же обусловливается ограничение деторождения, отказ от потомства? Без всякого сомнения, в основе здесь лежат причины экономические — скудость средств, жилищная нужда, трудность воспитывать детей, обострение борьбы за существование. Всего более от этих факторов страдает рабочий класс, жертва капитала—и человечество перестанет вымирать, когда будет положен конец капиталистическому строю *).

*) „Непосредственное повреждение протоплазмы (алкоголизм и пр.) и подбор, направленный к ухудшению человеческой расы (милитаризм, неравномерное распределение имуществ)"—вот главные факторы, подрывающие мощь потомства,—говорит один видный немецкий евгенист. Такие же взгляды проповедует и упоминаемый у Эв. Мельцера проф. Бумке (Мюнхен), книга которого „Культура и вырождение" недавно вышла и на русском языке (изд. М. Сабашникова, Москва 1926).

Такова количественная, так сказать, сторона вопроса. Само по себе падение рождаемости было бы все же не так грозно, если бы место естественного отбора занял искусственный планомерный подбор; но человечество, выйдя из периода массового размножения, осталось при прежних условиях естественного отбора. Вместе с тем современная культура сохраняет и поддерживает слабые и больные элементы; их размножение систематически понижает средний уровень человеческой природы, и человечество идет к вырождению.

Еще Гезиоду рисовалась идея вырождения,—в виде постепенного перехода человечества от золотого, счастливого века к серебряному, затем к бронзовому и медному; в наши дни, особенно в послевоенной Европе, угроза вырождения стала вполне реальным и тревожным фактом. Об этом, помимо убыли рождаемости, свидетельствуют и заметное ухудшение качеств нарождающихся поколений, и вынужденное понижение норм при рекрутских наборах, и повсеместный рост туберкулеза и других болезней, и огромное учащение близорукости среди населения городов, и многие другие тревожные симптомы.

Благодаря успехам технической культуры и прогрессу медицины, более слабые не только выживают, но и оставляют потомство, чем ослабляется процесс естественного отбора—выживание наиболее приспособленных. Сейчас эта опасность вымирания и вырождения особенно велика: благодаря тесным и всесторонним связям между людьми, благодаря интенсивному взаимному общению разных стран, всякий достаточно сильный процесс из местного быстро делается мировым, охватывает значительную часть человечества.

Все эти опасности, повторяем, вполне реальны и значительны, но приходить из-за них в отчаяние и хоронить человечество все-же нет оснований. Эволюция—это не только наследственность и отбор, но еще и изменчивость: „все течет"—говорил Гераклит. Рядом с биологическими факторами, при всей их высокой важности, стоят (и даже имеют решающее значение) фактор социально-экономиче-

кие, которых многие недооценивают или сознательно обходят.

Руководя эволюцией прочих живых существ, человек должен, разумеется, овладеть и процессом собственной эволюции; в рационализации нуждается не только народное хозяйство, но и его работники. В этой огромной, исключительно сложной задаче, ценнейшие услуги окажет евгеника, как наука о под'еме уровня населения расы, но в условиях капиталистического строя практические выводы из нее—санитарно-гигиенические мероприятия, законодательные нормы—либо остаются почти бесплодными, либо принимают классово-буржуазную окраску и становятся новым источником угнетения трудящихся, новым звеном несправедливого классового строя общества.

Только в послеоктябрьской России, строящей социализм, даны условия для правильного развития и практического применения принципов евгеники, только у нас евгеника будет служить истинным интересам культуры и человечества.

Книга Эв. Мельцера посвящена, собственно, одной частной мере отрицательной евгеники,—праву на сокращение жизни малоценных элементов, и вызвана появлением брошюры на эту тему Биндинга и А. Гоша; в раззоренной, обескровленной войной Германии брошюра эта вызвала большой шум и страстные отклики за и против. Но попутно автор затрагивает и ряд других, как частных, так и общих вопросов евгеники.

Несомненно, автор прав: рискованное предложение Биндинга не привлекло бы к себе столь напряженного внимания, появись оно не в 1920 году, а сейчас, когда острота нужды в Германии уже значительно ослабела. Но что подобные предложения еще и теперь как бы носятся в воздухе буржуазных стран, видно из того, что в благополучной, не воевавшей Швейцарии еще в 1923 г. оффициально обсуждался проект убийства части душевно-

больных в лечебницах. Характернее всего здесь мотивировка: рядом с ссылкой на гуманность такой меры отмечается и очень прозаический мотив отсутствия средств на постройку новой психиатрической больницы!

Вообще момент недостатка материальных средств, момент экономии играет, как показывает изложение Мельцера, видную роль в аргументации защитников подобного убийства. Очень жаль, конечно, что на длительное и безнадежное в смысле исцеления призрение идиотов тратятся деньги, материалы, усилия лечащего и ухаживающего персонала и т. д. Но на это уходит, конечно, гораздо меньше средств, чем, например, на содержание и вооружение больших армий в целях хищнической войны извне и борьбы с революцией внутри страны.

Поскольку проповедь убийства неполноценных элементов выставляется как серьезная евгеническая мера, с ней необходимо решительно бороться, ибо она, эта проповедь, искусственно отвлекает внимание масс от широких социальных реформ в сторону сравнительно мелких частностей. Очень печально, что идиоты плодят себе подобных, но еще печальнее, что существующий социальный строй делает неизбежным появление подобных производителей.

Но, как скромный паллиатив, а в некоторых случаях — как единственно-возможный выход, с целью избавить человека от страданий — такое право, действительно, может быть допущено. Разумеется, при этом обязательно наличие строгих гарантий: налицо должно быть свободное, сознательное желание больного умереть, вполне компетентное признание больного неизлечимым и возможно большая безболезненность при оказании помощи в смерти. Когда речь идет об умирающем, обреченном на тяжкие и ненужные страдания, наличие у него желания умереть не является обязательным условием.

Что до душевнобольных (слабоумных, идиотов), то мы вместе с Мельцером считаем недопустимым прекращение их жизни, и не столько даже в силу юридических соображений, сколько в силу все той же относительности наших психиатрических знаний. Тем более, что, как убедительно

доказывает Мельцер, идиоты в большинстве случаев вовсе не тяготятся своим существованием и не хотят ее прекращения.

Об организационных подробностях такой легализации прекращения жизни здесь не место говорить, да и вообще проведение подобных проектов в жизнь было бы сейчас преждевременно: сейчас может идти речь только об их теоретической разработке. Слишком поспешно, опрометчиво приступить к столь резким практическим мерам значило бы надолго подорвать доверие масс не только к евгенике, но и к лечебной медицине, а это последнее — ценнейший союзник в деле оздоровления трудящихся.

„Позаботимся лучше о том, чтобы идиоты не размножались"—говорит, вслед за социалистом Гурни, наш автор, бесконечно чуждый социализму. Последний требует даже создания таких условий, „при которых все общественные слои могли бы беспрепятственно развивать все присущие им способности".

Но сделать отсюда неизбежный вывод о том, каковы же эти условия, он не решается. Вместе с французским евгенистом Сегеном он требует только „подъема среднего уровня отсталых слоев", рассчитывая при этом исключительно на „меры воспитания и культуры"...

Вообще, в конечных выводах Мельцеру с советским читателем не по пути, но его позиция в оценке частных проблем евгеники, в общем, правильна и вполне приемлема. Так, очень верен, а местами и тонок его анализ природы самоубийства и подстрекательства к нему (соучастия), ценны его соображения о лишении жизни неизлечимо больного, когда на то имеется его сознательное желание и прямая просьба. Впрочем, здесь, как и во всей своей книге, автор недооценивает относительности наших знаний о неизлечимости той или другой болезни.

Другим недостатком книги является ее перегруженность юридическими конструкциями. Для нас формальные

принципы права, несмотря на все их многовековое прошлое, не являются самодовлеющими, а тем более вечными ценностями: мы конструируем право, исходя не из голых юридических положений, а из существующей конкретной обстановки, из интересов целесообразности и блага трудящихся

Еще менее для нас убедительны и даже просто мало интересны тончайшие рассуждения автора о праве на жизнь с точки зрения Христа и священного писания.

Наконец, только как забавный курьез, мы можем рассматривать удивление и радость автора по поводу того, что „культурные идеи свойственны и Советской России".

Но, несмотря на все эти частные недочеты и прямые lapsus'ы, книгу немецкого евгениста с интересом и с пользой прочтет всякий, кто задумывается над тревожными вопросами улучшения расы. Она пробудит в нем интерес к евгенике вообще и даже своими спорными утверждениями будет способствовать углублению в область евгеники, пропаганды ценных евгенических идей.

Л. М. Василевский.

Март 1926
Ленинград.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
От издательства	3
Предисловие автора	4
I. Право на убийство	9
1. Лишение жизни психически нормальных людей	16
2. Сокращение жизни слабоумных	60
3. Анкета	91
4. Культурно-исторические данные	103
II. Что такое евгеника	115

Издательство „ПУЧИНА“

Москва, Петровские линии, 1/20, тел. 4-90-76.

Отдел изящной литературы.

Абим-Ассана.—«Черный вал», негритянский роман . . . . . 1 р. — к.
Бернер, Х. (автор пьесы «Потоп») — «Дневник одинокого», роман . . . 1 р. — к.
Брет-Гарт.—«Искатели золота», роман . — р. 75 к.
Брет-Гарт.—«Девушка из Кентукки», роман . . . . . 1 р. — к.
Войнич, Е.—«Джек Реймонд», роман, 2-е изд. (печ.) . . . . . — р. — к.
Войнич, Е.—«Овод в изгнании», роман, 2-е издание . . . . . 1 р. 50 к
Гершгеймер, Джозеф.—Собрание сочинений:
1. «Кукла и женщина», роман, 1 р. — к.
2. «Белисэнд», роман . 1 р. — к.
3 «Линда», роман . . . 1 р. — к.
4. «Три поколения», роман 1 р. — к.
5. «Явайский пик», роман . 1 р. — к.
6. «Горная кровь», ром. (гот. к печ.)
7. «Яркая шаль», роман . . . 1 р. — к.
8. «Жизнь Антония», роман (печ.)
Гирели, М.—«Преступление проф. Звездочетова», фант. ром. . . . . 1 р. 15 к.
Жаколио, Луи.—Собрание сочинений, перевод с фран. под ред. С. Михайловой-Штерн:
1. «За свободу Индии», роман . 2 р. — к.
2. «Кольцо власти», роман (печ.).
Жермен, Жозе.—«Петух», роман . . . . — р. 75 к.
Жулавский, Г.—«Победитель», фантаст. ром. 2 р. — к.
Жулавский, Г.—«Возвращение на старую землю», фантаст. роман (печатается)
Иокай, Мавр.—«20-тысяч лет подольдом“, фантаст. роман . . . . . 1 р. — к.
Ле-Фор и Графиньи.—«Вокруг солнца», фантаст. роман . . . 1 р. 50 к.

Издательство „ПУЧИНА“

Москва, Петровские линии, 1/20, тел. 4-90-76.

Машар, Альфред.—«Судебная ошибка», ром.	1 р. — к.
Морис-Верн. — «Вавилонские владыки», роман (печатается) .	
Никулин, Л.—«Хмель», роман . . .	1 р. — к.
Никулин, Л.—«Тайна сейфа», фант. роман .	1 р 20 к.
Обручев, В.—«Земля Санникова», фантаст. роман (печатается). . . .	
де-Пувурвиль, Альберт.—«Китайские тени». роман	— р. — к.
Ренар. М.—«Загадки Ришара Сегюра», фантаст. роман (печатается).	
Рони (старший).—«На загадочной планете», фантастический роман (печатается) .	
Сель, А.—«Бунт машин», роман (печатается).	
Тагор, Рабиндранат.—«В четыре голоса», ром.	— р. 50 к.
Трот де-Баржи.—«В стране давно минувшего», роман (печатается).	
Фаррер, Клод.—«Маленькая женщина с большим характером», роман	1 р. — к.
Фаррер. Клод.—«Человек, который убил», роман	1 р. — к.
Фаррер, Клод.—«Жизнь за мечту», роман	1 р. 20 к.
Франс, Анатоль.—«Роман актрисы», роман	1 р. — к.
Хаггард, Р.—Собрание соч., пер. с английского под ред С. Михайловой-Штерн:	
1. «Братья-волки», роман (печ.).	
2. «Люди тумана», роман (печ.)	
3. «Сердце мира», ром. (гот к печ.).	
Шовелло Р.—«Жертва фанатизма», ром, пер. с франц. Э. Левиной . . .	1 р. — к.
Шолье, А и Лесбро, А.—«Саргасово море», фантаст. ром. (печатается).	
д'Эм, Жан.—«Красные боги», роман.	— р 90 к.
Эренбург, И.—«Лик войны», роман. . .	— р. 95 к.
Эрхардт, Н.—«Последняя власть», ром.-утоп.	1 р. 35 к.

Издательство „ПУЧИНА“

Москва, Петровские линии, 1/20, тел. 4-90-76.

Отдел научно-популярный.

Ван-Дун Г., проф., — „История человечества“ (для юношества), в 2-х томах, с многочисленными иллюстрациями, пер. с англ. а каждый том . . .	2 р. — к.
Валентин К., проф. — „Психология красоты“, перевод с английского под ред. проф. Н. Виноградова . . .	1 р. 35 к.
Голенкин М., „Растительный мир как производительная сила природы“	— р. 80 к.
Древер Д., проф. — „Психология труда“, перев с англ. под ред. проф. Виноградова	1 р. 35 к.
Люпц К., проф. — „Психология животных“ (Зоопсихология), перев. с немецк. под редакцией проф Лодыгиной-Котц .	1 р. 20 к
Мельцер, Э.—„Право на убийство“ (Борьба с вырождением), пер. с нем. под ред. и статьей д-ра Л Василевского.	1 р 35 к.
Стовичек В. — „Загадочная планета“ (Марс), с предислов. проф. С. Блажко .	1 р. 20 к.
Фламмарион К., проф.— „Прогулка по звездам“, перев. с франц. под ред. проф. С. Блажко .	— р. 90 к

Прогулки по отраслям промышленности — популярная серия под. ред. инж. Муромова, С.:

„Каменный уголь“ .	— р. 55 к.
„Железо“	— р. 50 к.
„Лен“ .	
„Шелк“	
„Шерсть“ .	
„Хлопок“ и др.	